

Николай Перовский

СТОИТ ГОРА ВЫСОКАЯ

Повесть, рассказы



Орёл — 2024

УДК 82-1

ББК 84(2Рос=Рус)6
П 91

Издание осуществлено при поддержке
Орловской региональной общественной организации
«СОЮЗ ВОЕННЫХ ЛИТЕРАТОРОВ»

Оформление серии – Трудников А. В.

Перовский Н. М.

П 91 Стоит гора высокая. Повесть, рассказы. – Орёл: Издательство «Картуш», 2024. – 260 с. (Серия «Орловщина литературная – Современники»)

ISBN 978-5-9708-1172-6

В книгу «Стоит гора высокая» вошли одноимённая повесть и рассказы Николая Перовского (1934–2007) – российского писателя, больше известного читателю своими стихами. Проза писателя – это воспоминания о нелёгком беспризорном детстве в годы военного лихолетья, о трудовой молодости, раздумья о современнике, это рассказ от первого лица человека, который сделал себя сам. Повествование отличаются тонкий психологизм и глубокий лиризм.

Книга адресована в первую очередь молодёжной читательской аудитории и может послужить духовно-нравственному развитию подрастающего поколения, воспитанию в молодых людях патриотизма на основе отечественных традиций и ценностей.

УДК 82-1

ББК 84(2Рос=Рус)6

*На обложке использована картина
Владимира Блинова «Судьба поэта»
(Николаю Перовскому посвящается)*

ISBN 978-5-9708-1172-6

© Н. М. Перовский (правопреемники), 2024
© О. А. Сорокина (иллюстрации), 2024
© Союз военных литераторов, 2024
© ООО ПФ «Картуш», 2024

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

**РОДИЧЕВ Н.И. (г. Москва).
ПИСЬМО ПЕРОВСКОМУ Н.М. (г. Орёл)
от 16 октября 1978 года.**

Дорогой Николай Михайлович!

Получил Вашу повесть¹. Буду читать – сам хотел видеть Вашу прозу (и стихи, разумеется).

Прошу лишь потерпеть в ожидании отзыва. Сейчас полуса всевозможных заседаний после зимних каникул (2 приёмные комиссии почти подряд, правовая комиссия, п/бюро), и работа над переводом – срок прошёл, и сдача книжицы об Орловщине. Но это не всё: как правило, ждут несколько рукописей, прибывших раньше.

Думаю, месяца за полтора-два руки дойдут, хотя чтения лишь на вечер. ...Сегодня (воскресение) читаю [неразборчиво], а в понедельник сделаю до бюро странички 2–3 перевода и т. д.

Ваша рукопись лежит у меня на письменном столе, а не в стопе иного чтения, что у входа у тумбочки.

Очень сочувствую Вашему нелёгкому бытию, <...> предстоящей публикации в «Н[овом] М[ире]»!² В конце концов, «не вдовці», как говорят украинцы (а я перевожу

¹ Н. М. Перовский отправил на рецензирование Н. И. Родичеву повесть «Стоит гора высокая», которая позже вошла в книгу «Дорога к дому» (Тула, 1983).

² Речь идёт о предстоящей публикации стихотворений Н. М. Перовского в журнале «Новый мир», которая осуществилась в апреле 1979-го года.

для С[оветского] П[исателя]» с укр[аинского] роман <неразборчиво>), пойдёт и проза.

Спасибо за привет от Вашей милой супруги!¹

Поклон ей и добрые пожелания всему вашему семейству!

Жму руку! [Ник. Родичев – подпись].

16. 10. [19] 78 г.

Р. S. Поздно вечером написал Вам, Н[иколай] М[ихайлович], эту записку, а утром делаю приписку. Удалось ночью страница за страницей прочесть повесть, хотя такого рода перегрузки дают себя знать. Просто так складывались обстоятельства, что если отложу – на два-три месяца.

Повесть Вам удалась. Это лирическая, в чём-то нежная вещь, несмотря на суровость обстановки – о пробуждении первого чувства у юноши, и познание жизни с самой трепетной и таинственной её стороны. В чём новизна произведения:

обрисован тыл во время войны; даны любопытные характеры людей, особенно Маши и Наташи, Любы и Гали; несколько хуже, жаль, что хуже, <неразборчиво> – председатель; Мишка Абыхвост.

Отлично то, что вторая часть – стройнее, сильнее, чем первая – это редко случается.

<...>

Ваша повесть, вообще говоря, сложилась. С чем Вася и поздравляю. Тексту нужна лишь редакторская, обычная, не более обычной работа. Вы её в состоянии провести и сами. Об этом свидетельствует 1-я страница и почти вся последняя треть текста – всё здесь прочно, точно, впечатляюще.

¹ Перовская Лидия Ивановна.

Повесть, на мой взгляд, можно посылать в журнал «Юность» или «Новый мир» – журналам с интеллектуальным уклоном.

Извините за краткость. Всего Вам доброго. [Ник. Родичев – подпись].

Печатается с сокращениями по книге «Орловский край в русской литературе XX–XXI веков: исследования, публикации, сообщения», выпуск 2, часть 2 (Орёл: ОГУ, Вешние воды, 2009. Составитель Г. А. Тюрин)





СТОИТ ГОРА ВЫСОКАЯ

Повесть



ШМАТОК САЛА

Серёжку привезли после обеда. Сейчас время шло к вечеру, темнело, но председатель колхоза, толстый, бритый наголо человек, сидевший за столом в распахнутой шубе, разговаривал с мужиками и, кажется, не спешил определять судьбу новичка.

Серёжка пригрелся возле печки, от которой пахло угольной гарью, и подремывал, почти не вслушиваясь в разговор. Но когда кто-то входил в правление, хлопал дверью и, топоча о земляной пол валенками, сбивал снег, пацан поеживался от струи холодного воздуха, обводил взглядом мужиков, одетых в фуфайки и шубы, и поневоле пытался понять, о чем они спорят и что решают. А они, как и час, и два назад, говорили о подписке на заем, о налоге за бездетность, о будущем урожае, который «должен быть», а также о самогоне, – и всё это на русском, на казахском, на украинском языках. То была хотя и странная, но приятная смесь, характерная для этой местности – между Джамбулом и Чимкентом. Разговор, без повышения тона и почти без оттенков, усыплял Серёжку. Лампу почему-то не зажигали, и лица мужиков становились видны только при свете сигарок. Почти все курили самосад, заворачивая его в конторские бланки, запах горелой бумаги забивал даже угольный дух из поддувала. Только председатель колхоза, сидевший за столом возле окна и превращенный сумерками в силуэт, время от времени щёлкал портсигаром и доставал из него папиросу «Бер-

кут». Это была дешёвка, даже беспризорники называли их «гвоздиками». Серёжке, невзлюбившему председателя с самого начала, казалось, что толстяк курит папиросы только для того, чтобы хоть чем-то отличиться от мужиков. Пацану тоже хотелось курить, и не будь в правлении неприятного толстяка, он попросил бы у кого-нибудь табачку на завёртку или хотя бы окуроч.

Будущая его жизнь во многом зависела от председателя – это он знал по рассказам дружков беспризорников, из тех, кому довелось уже побывать в «воспитанниках колхоза». Может, поэтому сегодня утром, когда ребят вывели во двор роно, чтобы распределить по колхозам, многие старались попасться на глаза именно этому человеку: хотя на его румяном гладковыбритом лице застыло полупрезрительное выражение, пацаны понимали, что у такого толстомордого хозяина и кормить должны получше, – а ведь шёл сорок седьмой...

Стоял декабрь, было морозно. Беспризорники, одетые, как пришлось, мёрзли, но председатели не спешили, приглядываясь и отбирая тех, кто им больше нравился. Неопытные подходили к ребятам постарше, надеясь сразу пристроить их к делу. Другие, с ними толстомордый, знали, что от старших-то и следует ожидать всяческих неприятностей: станут воровать, отлынивать от работы, а чуть пригреет солнышко – поминай как звали. Не брать же совсем было нельзя, это вроде налога. Хотя начальство больше упирало на совесть: «Бери, бери... Надо помогать, ставить на ноги... Глядишь, приживётся, вот тебе и мужик в деревне!» Председатель в ответ только покачивал головой – что-то не очень они приживаются, эти пацаны, война разбаловала, приучила к базарам да вокзалам, заставь таких работать! Но, как

на грех, в знаменитом колхозе «Путь к коммунизму», где даже в нынешнем году дали по шестьсот граммов на трудодень, один парняга задержался, да и не только задержался, но и женился и теперь тракторист из лучших. Это был единственный случай, но – был... Да нет, как ни верти, а брать надо, уж если не получится, то другое дело.

И вот толстый председатель подошёл к Серёжке, стучавшему от холода зубами, и сказал воспитателю детской колонии:

– А чи узять этого заморыша?..

Всё та же смесь языков...

Серёжке нравилось только то, что председатель толстый и солидный, но не нравилось его лицо и повадка, а значит, можно было ломать комедию: пацан мгновенно «сделал исусика» – лицом и фигурой изобразил забитость и послушание, и всё потому, что вид председателя напоминал «шматок сала».

От райцентра до деревни ехали в санях. Скрипели полозья, лошади позвякивали сбруей. Вокруг расстилались снежные холмистые поля, а на горизонте сияли отроги Тянь-Шаня. Серёжка щурился от яркого солнца, в сорок четвёртом он переболел «куриной слепотой».

Лошадьми управлял угрюмый мужик. У него не было левой руки по самое плечо, и рукав, заправленный в карман кожуха, отдувался так, точно был накачан воздухом. Председатель называл его Семёном, но держался с ним непросто. Новичок, очень чуткий, как все бездомные пацаны, к отношениям между начальниками и подчинёнными, понял это сразу. Говоря с Семёном (пацан, конечно, называл его мысленно дядькой Семёном) и осторожно подшучивая над ним, председатель, казалось, ни на миг не забывает, что сам он в новой дублёной шубе и каракулевой шапке, что у него

власть над людьми и над этим мужиком, а у того никакой власти, кроме как над лошадьми, нет, шуба его облысела, особенно на отворотах и рукавах, а такую кроличью шапку впору носить вот этому бездомному пацану. Сознание всего этого позволяло председателю чувствовать себя хозяином и подшучивать над конюхом, но подшучивать осторожно, с поглядыванием на угрюмую Семёнову спину.

Серёжка замерз. Ботинки у него были старые, подошва на носках отклеилась, под неё набивался снег, приходилось вечерами ставить ботинки на печь, если таковая была... а к утру эти бедные чоботы так ссыхались, что в них было, как в деревянных колодках. На голове, почти на макушке, торчала серая женская беретка с шишечкой, а на теле, поверх сатиновой старой рубашки, больше размера на два, болтался пиджак, а точнее, китель без погон, Бог знает как оказавшийся на складе детской колонии.

Председатель, сидевший рядом с Серёжкой, будто и не замечал, что пацан полураздет и стучит от холода зубами; но толстяк и замечал, и слышал, и даже думал о новичке, но совсем в ином плане: он усмехался, представляя, что при случае можно будет вернуть в райком: «А тут ещё этот пацан – лишняя морока...»

Семён же, казалось, порывался обернуться к новичку, это чувствовалось по той стороне лица и спины, где сидел Серёжка, но в ту же минуту председатель начинал говорить, сбивая конюха. Он и теперь сказал как бы дядьке Семёну, а на самом деле новичку, потому что конюх знал то, о чём говорилось:

– Я ему и одежду справил, и на курсы трактористов хотел послать... Так шо ж ты думаешь, чи не удрал? Удрал сук-кин сын!..

– Як бы хотел, то и послав бы! – буркнул дядька Семён. – А як бы послав, то вин, може, и не удрав бы...

Председатель не обратил внимания на слова Семёна и спросил Серёжку:

– Ну, а как тебя по фамилии?

– П-полозов! – еле слышно выговорил вконец замёрзший пацан.

– Тэ-экс! Значит, Полозов Сергей... ладно, обойдёмся пока без отчества. Ну... А долго ты собираешься у нас прожить? – с усмешкой добавил он, трогая Серёжку локтем, но глядя всё на ту же угрюмую Семёнову спину.

– Н-не зн-наю, – ответил новичок, стараясь не стучать зубами.

– Та шо ты до его пристав! – сказал конюх тем голосом, каким говорят много курящие и кашляющие люди. При этом он, обернувшись, ожёг председателя взглядом, и тот, мгновенно, ощутило для Серёжки, подобрался. Пацан увидел небритое, с седой щетиной лицо конюха, нависшие седые брови, прокуренные зубы. И ещё он заметил, что у этого человека огромная красная рука без варежки, и вдруг подумал, что председатель должен бояться этой единственной руки...

– Зарой ноги у сено, – не глядя на новичка, сказал конюх. Он чмокнул на лошадей, зажал вожжи между коленями и снял с себя шубу. Под нею оказалась старая шерстяная телогрейка.

– Ну-ка, надинь...

Шуба была тяжёлая и тёплая, пацан закутался в неё с головой и быстро отогрелся. Председатель ещё раза два попытался заговаривать с ним, но он делал вид, что не слышит.

* * *

– Что, Степан, опять беспризорника привёз? Опять сбежит... – Як весна прийде, зараз сбежить!..

Так говорили мужики, когда сани остановились у правления колхоза. Минут десять парень был в центре внимания, но на вопросы он не отвечал, вернее, перестал отвечать, когда ушёл дядька Семён.

Мужики переглядывались и покачивали головами:

– Да, невесёлый хлопец...

– Вовченя...

От него отстали, а потом, в сумерках, и вовсе о нём забыли. Теперь ему хотелось есть, спать, он злился на председателя, но не решался о себе напомнить. Он наконец напустился прошептать соседу:

– Дядь, дай докурить...

При свете сигарки увидел широкие скулы и узкие глаза казаха и тотчас хорошо о нём подумал, принимая в руки чинарик. Голодный и усталый, он накурился тремя затяжками. Засыпая, он привык думать о чём-нибудь хорошем, что предстояло завтра, и теперь ему пригрезилось, что с утра ему дежурить на кухне. Длинный и широкий барак, бывший когда-то складом для просушки табака, после эвакуации детдома в эти края приспособили под общежитие. В барак размещалось больше шестидесяти кроватей, некоторые были двухэтажными, и сейчас, в самом начале Серёжкиного сна, ребята крепко спали, а он лежал с открытыми глазами и улыбался, ожидая, что вот станут видны очертания ветвей карагача за окном, его мелкие листочки, и тогда можно потихоньку собираться на дежурство.

– Эй, малый, как там тебя?! – услышал он голос председателя и открыл глаза. – Поди-ка сюда. Отправляйся вот

с этим дедом, будешь жить на свинарнике, работать будешь... Думаю, Машка с Наташкой откормят... Да смотри у меня! – председатель помахал толстым коротким пальцем перед носом Серёжки, и тот еле сдержался, чтобы не отмахнуть этот жирный палец.

– Ага! Гляди не разворуй там навоз! – проворчал дядька Семён. Он, должно быть, только что вошёл в правление – на лице у него была изморозь. Серёжка заметил, что от нервности у конюха подёргивается обрубок руки и ему приходится заправлять в карман выдернутый оттуда рукав шубы. Наверно, это конюх и напомнил о нём председателю.

– Пишли, пишли, хлопче! – пробасил дед. В правлении уже горела лампа, висевшая под потолком. Она коптила, отбрасывая ломаные тени, но никто не подправлял фитиль. Мужиков поубавилось, и Серёжка, уходя, так и не узнал, до чего они тут договорились за долгие часы сидения. Дед запахнулся в длинный кожух, надвинул поглубже барашковую шапку, потопал тяжёлыми пимами и подмигнул парню: «Пишли, пишли!» Дед был огромный, лицо его потонуло в бороде и усах, в воротнике шубы, по цвету близко к седине волос. Да пацан и не присматривался, хотелось поскорее добраться до жилья, а главное – до какой-нибудь шамовки. После разочарования в председателе свою надежду на «шматок сала» пацан теперь связывал с дедом, вместе с которым они шли по тёмному селу. Дед шагал широко и, как многие грузные люди, оттирал своего попутчика на обочину, сталкивал его почти в сугроб. Если же Серёжка отставал, то и дед останавливался, поджидая его, а когда пацан прибавлял шаг, дед легко догонял его, так что новичку всё время приходилось дышать запахом самосада и сыромятины от кожуха.

– Мене зовуть дид Бованенко, а тебе, га?! – благодушно басил дед, надвигаясь и всё тесня своего попутчика. – Мовчишь? Та чи ты змерз? Нычого, зараз прийдемо...

Мучаясь от холода и голода, Серёжка искоса поглядывал на деда: прямо таки идут себе по улице кожух да пимы, пыхтят самосадам, скрипят снежком! «Добро тебе, старый хрен, наелся сала и дымишь», – думал пацан, стараясь натянуть на уши беретку да запрятать кисти рук в рукава кителя.

Село было завалено сугробами, снег плотно укрыл соломенные и камышовые крыши, а из труб струился дымок, пахнувший соломой и кизяком. В некоторых домах не было занавесок, Серёжка с завистью смотрел, как люди ужинали. Посреди села дед остановился, поглядел на своего молодого попутчика, усмехнулся и сказал:

– Пидожды трохи, я зараз, – и вошёл в ближайший двор, не имевший ни ворот, ни калитки. Подпрыгивая, чтобы согреться, пацан мысленно обругал деда, который заставлял его мерзнуть, и подумал, что надо будет как-нибудь стянуть у него кисет с табаком.

– Ну, усё мовчишь?! – весело сказал возвратившийся дед и положил парню на плечо свою пудовую руку. – Вон, бачишь сараи, ото там.

За деревней, на пустыре, темнела длинная постройка, из-за неё был виден угол второй такой же, оттуда, несмотря на мороз, тянуло крутым запахом свинарника. Ближе к дороге примостилась хибарка, в окне горел свет. Из трубы вместе с дымом вырывались искры, чувствовался запах жжёной соломы. Проходя мимо окна, Серёжка с радостью увидел ужинавших за столом женщин.

– Прийшли! – сказал дед, открывая дверь. В лицо новичку ударило запахом свекольного пара. Лампы в коридоре

не было, окон тоже, но в широкой, точно паровозная топка, печи горела солома, и при свете был виден огромный котёл – в нём бурлила свёкла, присыпанная жмыхом.

Возле топки на земляном полу высилась горка соломы, а в угол были свалены вилы, грабарки, вёдра. Здесь же стояли два маленьких стульчика, сидя на которых доят коров.

– Гей, дочки, принимайте гостя! – вскричал дед.

– Видкрыто, видкрыто! – ответил из-за дверей густой и сильный женский голос. Дверь отворилась, и голодный пацан увидел прежде всего на столе возле семилинейной лампы чугунок с мелкой картошкой в мундире. У двери стояла с приоткрытым ртом широколицая, да и в остальном широкая, женщина лет двадцати пяти, а за столом сидела, перекатывая в руках горячую картофелину, очень похожая на неё девушка – тоже светловолосая и гладкопричёсанная и в таком же сероватом и старом платье точно бы из мешковины. Серёжка понял, что старшая – Маша, а младшая – Наташа.

Комната была маленькая. Грубо сбитый стол да две скамейки по бокам, а на печи горкой лежали подушки и байковые одеяла. Возле двери были вбиты в побеленную, но отсыревшую стену несколько длинных гвоздей, на них висели фуфайки, платки и старый плащ с капюшоном. Вот и всё богатство этой единственной комнаты, где обитали новые знакомые Серёжки и где предстояло жить и ему.

– Боже милостивец! Який лядащий! – вскричала, глядя на парня, старшая сестра. А он, костлявый, заросший, с давно не чёсанной и не мытой головой (в колонии перед освобождением гоняли в баню, но из-за холода пацаны только делали вид, что мылись), отчего волосы были похожи на потёки... он, из-за просторного кителя да ещё потому, что замёрз и съёжился, казавшийся совсем мальчишкой, хотя ему

шёл пятнадцатый год, застыл посреди комнаты, уткнувшись взглядом в чугунок с картошкой.

– А ну, Наташка, геть на хверму за молоком! – скомандовала Маша.

Младшая сестра, косясь на новичка с любопытством и жалостью, схватила фуфайку, бидончик и бросилась к двери.

– Ешь, ешь картохи, – говорила пацану Маша, – и вы, диду, ищите.

Она заметила, что пацан готов есть картошку нечищеной, и, торопясь, стала очищать картофелины своими толстыми пальцами, откатывать их новичку, и ему оставалось только макать их в соль и отправлять в рот.

Дед, снова пыхтевший самосадом, вдруг хмыкнул, глядя на Серёжку прищуренными и потонувшими в густых седых бровях глазами, и полез в карман своего огромного кожуха. Карман, казалось, был бездонным, и пока дед лез в него, не спуская хитрого взгляда с недавнего колониста, тот задержал дыхание и так сдавил в руке горячую картофелину, что чуть не прожёт ладонь. Он уже догадался, что дед вытащит из кармана кожуха. Дед развернул бумагу и положил перед пацаном шматок сала! Кусок был небольшой, вмещавшийся на половине дедовой ладони, но и ладонь была широка, и в куске было не меньше двухсот граммов, да и проглядывавшая сквозь прорванную газетку чуть прижаренная шкурка, да и сама бумажка, отсыревшая и пропитанная жиром, да ко всему ещё и солоновато жирный особенный запах... Это было сало! Это был тот самый «шматок сала» – предел мечтаний каждого беспризорника! На долю секунды обладатель этого несметного богатства даже пожалел, что никто из его бездомных дружков не видит этот невероятный кусок. Мысль эта пронеслась стороной, и Се-

рёжка почувствовал, что может заплакать, – и низко опустил над столом голову.

Сала он съел маленький кусочек, но и до прихода Наташи, когда он ел одну картошку, и после того, как запыхавшаяся девушка налила ему в большую алюминиевую кружку молока и он стал запивать им еду, – всё это время он поглядывал на лежавший возле локтя невероятный подарок деда. Сёстры, сидя на лавке и сложив на груди руки, смотрели, как он ест, да и дед со своей бесконечной сигаркой, щуря глаза, глядел, как пацан захлебывается молоком, как ходят его скулы и натягивается жёлтая кожа лица. Серёжка продолжал жадно есть, но уже наполнялся желудок, и появилась новая забота – покурить, накуриться досыта, иначе и еда не пойдёт впрок... И он прикидывал, как ему поступить: попросить у деда на завёртку или проследить, куда старик бросит чинарик.

– Мабудь, буряки зварылысь, – сказал сторож сёстрам, и они все трое вышли в сенцы и завозились в котельной.

Серёжка быстро оглядел пол и подобрал толстый недокурок – схватил его большим и указательным пальцами, словно пинцетом, и спрятал в карман, потом быстро откусил кусочек сала и проглотил его не разжёвывая. Он услышал, как дед вполголоса назвал его имя, говоря что-то сёстрам, на что Маша ответила: «Добре! Добре!» Прислушиваясь, Серёжка быстро распотрошил толстый недокурок и завернул табак в аккуратно свернутую газетку, после чего досыта и не спеша накурился. Правда, ему приходилось убеждать себя, что всё в порядке: он, конечно, не боялся ни сестёр, ни деда, но было почему-то неудобно вот так вот напоказ затягиваться сигаркой после того, как они его накормили и пригрели.

Его стало клонить в сон, и, примостившись на лавке, он задремал. И тотчас приснилось, что кто-то хочет отнять у него сало, завёрнутое в дополнительную газетку и припрятанное в карман, где лежала самодельная финка. Сон сложился мгновенно: сначала Серёжка оказался в Джамбуле на «Мучном» базаре с Кривым Баюрой; но в тот момент, когда они поднимались на холм, где и размещался этот базар, Серёжка во сне подумал, что всё это сон – ведь Кривого Баюру он узнал после Джамбула, а в этом городе он был с Карабалой. Точно: с Кривым они познакомились в Арыси-второй, потом вместе попали в Чимкент. Но теперь, во сне, этот противный урка, усмехаясь своим большим ртом и вообще вихляясь, как это он умел, стал поправлять грязную повязку, закрывавшую его левый глаз, выбитый во время драки с ташкентскими блатными. При этом он лез в карман, где, как знал Серёжка, всегда лежит настоящая финка, и тут Серёжка поверил, что нет, это не сон, это...

Он застонал и проснулся. Над ним стояла Маша. Она прикасалась к нему как раз в том месте, куда он положил сверток с салом.

– Вставай, хлопчик, вставай, – говорила она, умеривая свой сильный голос, – полезай на пичь, там тепло.

И так ему было радостно и безопасно слышать эту смесь украинского с русским, так до слёз приятно понимать, что он не «на воле», а в жилище добрых людей, что он вдруг улыбнулся Маше, и улыбка эта, неожиданная на его хмуром жёлтом лице, получилась такой благодарной и обезоруживающей, что и Маша засмеялась, показывая крупные зубы, и тут же, шутя, но чувствительно, хлопнула его по спине, выпроваживая на печь.

За окном начинался буран, в трубе выл ветер. В комнате похолодало. Хибарка не предназначалась для жилья постоянного, это была подсобка, времянка, что-то вроде кормокухни или сторожки. Оштукатурили её кое-как, даже окна пригнаны на глазок, сёстры затыкают щели тряпками. Но на печи тепло! Серёжка с удовольствием полез туда, но, когда Маша с Наташей стали укладываться рядом с ним, точнее, по обе стороны от него, он удивился – ему никогда не приходилось спать с женщинами рядом, так близко, так запросто, но он был такой усталый и разморённый, что не успел как-то отозваться на это, подумал – и уснул.

Но и эта ночь не была для него спокойной. Сначала как бы из пустоты послышался голос, и было непонятно, кому он принадлежит – взрослому или ребёнку, женщине или мужчине, потом к нему стали присоединяться другие странные голоса, распиравшие голову, и наконец из этого жуткого хора выделился тоненький детский голосок и чистейшим дискантом пропел: «Мо-ей при-чины плоскогубцы, тво-ей при-чины сор-ван-цы!» Серёжку охватил ужас, потому что невозможно было как то объяснить, что всё это значит, это было стихийное и запредельное...

Он проснулся. Было страшно и обидно, – хотя боялся он не кого-то или чего-то конкретного, – именно эта размытость, невоплощённость ужасала его. И в какой связи вспомнились ему зимние вечера сорок третьего года? Зима была сырая, оттепельная, хотя само это слово «оттепель», произносимое взрослыми детдомовцами, казалось Серёжке неточным и даже издевательским: какая может быть оттепель, когда вокруг так промозгло, когда холод страшней, чем в любую буранную стужу? Они, малыши, редко ходили в столовую по вечерам, потому что жили тогда в отдалённом

бараке. Обычно туда отправлялся кто-то из старших с двумя дежурными – они приносили сухомятку... Чаще всего это был кусочек кукурузного хлеба и мёрзлая луковица. Для экономии в бараке зажигали всего одну керосиновую лампу, да и то в том конце, где обосновались старшие. Никогда не было точно известно, сколько времени придётся ждать посыльных со скудным вечерним пайком. И многие задремывали от слабости. А когда пришедшие из столовой вручали им кусочек хлеба с луком, они, полуспящие, полусонные, съедали этот несчастный кусочек хлеба и потом окончательно просыпались от чувства неимоверного голода. Казалось, кто-то специально придумал это издевательство...

...Дед, подтапливая котёл, из которого пахло теперь распаренной картошкой, увидел, что парень держится за живот, накиннул на него свой тяжёлый кожаный и усмехнулся, говоря:

– Це нычого, оббивсь молока с картохами. Бежи на двор...

Когда Серёжка вернулся, сторож усадил его на стульчик возле себя.

– Ось, я тобі бурячка испик!

Печёная свёкла, с прижаренной корочкой, с выступившей местами патокой – это была вкуснятина! Новичок начал успокаиваться после своего ужасного сна. Тем более что дед, закуривая, протянул и ему кисет и газетку. Серёжка закурился и сидел рядом со сторожем, глядя, как в топке схватывается, сжимается в комок, изгибается солома, а внутри остаются негорелые сгустки, и надо их ворошить кочергой. Ему было странно, что он может так спокойно думать о горячей соломе и слушать, как дед негромко напевает: «Стоит гора высокая а, а пид горою гаю гай». Почти неосознанно Серёжка держал руку в кармане, где у него был шматок

сала, подаренный дедом. Сам же сторож, заметивший, куда парень спрятал свой свёрток, улыбнулся в усы.

Как часто не хотелось просыпаться по утрам в прежней его жизни! Ещё в полусне вспоминал, где он – в детдоме, колонии, ремесленном училище или «на воле»... и что, и кто вокруг... и что впереди... и что сейчас, когда встанешь? Иногда вовсе бы не просыпаться! Уснуть летаргическим сном, – об этом часто мечтали полуголодные и вовсе голодные пацаны, – и проснуться в иные времена, когда ни войны, ни голода, ты уже взрослый и живи, как хочешь, никто тебе не указ! Но это мечты... А вставать всё же нужно. Так нельзя ли хотя бы оттянуть подъём на полчаса, чтобы продумать и прикинуть, что и как. Если, например, сегодня суббота и нужно убирать территорию, – это одно, а если и суббота, и территория, но на завтрак тыквенная болтушка без хлеба, – то это другое, двойная неудача. А могло сойтись еще хуже: если ты, кроме всего прочего, ещё и «дневальный» – так по-солдатски назывались обязанности тех же дежурных, но не по кухне, а по бараку, подметать и мыть полы в этом необъятном помещении! Просыпаться в такие утра было мукой... Еще не открывая глаз ты представлял все закоулки под кроватями и под тумбочками, все выемки и щели, в какие надо проникать, – от одной мысли болела сорванная спина.

Но страшнее всего было проснуться должником. Проигрался в «очко», в «буру», в «орлянку»... да мало ли во что! Или же просто занял у кого-то горбушку до завтра – одолжил на время, всего на сутки, но с тем, чтобы завтра отдать уже полторы или две нормы, – жить-то хочется сегодня! Но и «завтра» наступало!

Ростовщики – вот кого ненавидели все: и «воры в законе», и простые «доходяги, суки и шестёрки, щипачи и домушники»...

С ростовщичеством было связано самое жуткое воспоминание в его жизни.

Они с Карабалой лежали на втором этаже колониистских нар и не дыша слушали, как два блатяка Дрын и Пегий сговаривались утопить в уборной горбатого Виталика, ростовщика, которого кто-то из книгочеев, – а среди блатных попадают заядлые книжники! – прозвал Цахесом, прочитав повесть Гофмана. Долгими вечерами, а то и до глубокой ночи один из колониистов рассказывал «рóман», к примеру, «Белый ужас» – покоритель мужских сердец» или «Чёрный ужас» – покоритель дамских сердец»... Все эти душещипательные истории представляли из себя смесь придуманного и вычитанного из книг. Конец должен был быть всегда счастливым: воры побеждали «легалых» – милиционеров, прокуроров. Причем «Белый ужас» побеждала своей красотой и находчивостью, а «Чёрный ужас» – своей смелостью и вероломством.

Но история с колониистом ростовщиком не была похожа на сказку, нет, ничего сказочного – один ужас, настоящий, не белый и не чёрный, такой, какой он бывает только в жизни. Длинный и хлёткий Дрын курил анашу, на воле у него были связи с дунганами и казаками, продавцами наркотиков. По слухам, за ним числилась и «мокруха», то есть убийство. Крепыш Пегий ухитрился подхватить малярию, да такую, что в минуту приступа он был слабее мухи. Его и взяли в Манкенте, когда он, обшарив все углы и закоулки «хавиры» (дома), был застигнут приступом и залез в хозяйскую перину погреться.

Карабала первым услышал шепот блатных и одними губами передал начало их разговора Серёжке. Цахес давал в рост деньги, сахарки, горбушки, «бациллу» (масло)... Он «забугрил», то есть поработил, всю колонию, но терпение блатных кончилось, когда он потребовал в уплату за долги живой товар – Пашеньку-сучонка; тот в свои четырнадцать лет был уже опытной и знающей себе цену «девочкой». Серёжка с Карабалой не знали, как им быть: «настучать» они, конечно, не могли, предупреждать Цахеса было небезопасно, а главное то, что им не было жалко горбуна. И всё же уснуть в ту ночь они не смогли.

Утром Цахесу предстояло выносить парашу. Он разбудил соседа и пообещал ему скостить долг, если тот поработает за него. Белоголовый мальчишка, дуриком, за компанию, попавший в колонию, сразу же согласился, но его оттеснил от параша Пегий. Цахес попытался поднять шум, чтобы разбудить блатных, которых он подкармливал, но, весь жёлтый от лихорадки, крепыш приставил ему к горлу финский нож и заставил поднимать зловонное судно. Так вдвоем они и проследовали в уборную, а оттуда вернулся один Пегий.

Через неделю в колонии устроили капитальную проверку, «шмон», но никого и ничего не нашли, и только спустя полгода тело обнаружили золотари...

...Зато как радостно было просыпаться в день дежурства по кухне. Зима на дворе и нужно рубить саксаул, носить из дальнего арыка воду, слякоть осенняя или весенняя, а в твоих ботинках хлюпает вода, и сырой курай никак не загорается, – всё это не страшно, потому что ты – дежурный по кухне! Ты самый счастливый и уважаемый человек. Ты ещё только проснулся, столовая закрыта, вставать рано, но уже с десятков пацанов ждут, когда ты откроешь глаза.

«Слышь, Серёга, бери мои ботинки, твои ведь текут... а-а, не налазят, жалко, может, возьмёшь шапку!» – «Да ладно тебе, я и так принесу, что смогу!» – обещаешь ты. «Серёжка, вот тебе книга, ты ведь просил», – и тебе в руку суют затрепанную, но такую вожаделенную книжку Дюма «Двадцать лет спустя»...

Кто то предлагает наносить воды или нарубить дров. Хотя ребята знают, что вечером ты поделишь с ними свою добычу: десятка полтора печёных картофелин, два три початка кукурузы и лепешку тапанчу...



ДЕЖУРСТВО

Когда они с Гришкой Пантюхиным вышли из барака, в селе кричали петухи. Еще невидимое солнце озолотило дальние вершины Тянь-Шаня. Двери конюшни были открыты, оттуда тянуло запахом сена и навоза, доносилось позвякиванье сбруи и отфыркиванье лошадей. Егор Алексеевич готовился запрягать и ехать на подсобное.

– Вы что, ребята, дежурные? – спросил он, подводя лошадей к бестарке.

– Да, – отозвался толстогубый увалень Гришка, – а вы на подсобное или за хлебом?

– Нет, брат, – ответил Егор Алексеевич, глядя на ребят рассеянно и грустно. – Хлеба не будет. Я на подсобное.

Сторож оправил руками бороду и усы и уселся на бестарку.

– Так вот, ребята... так вот... Война... – Егор Алексеевич подёрнул вожжи.

Они шли в столовую, веря и не веря тому, что сказал сторож, он же и конюх детского дома. В последнее время нормы хлеба снизили до ста пятидесяти граммов. Правда, была осень, ребята подкармливались в садах и особенно огородах – кукурузой, соей, яблоками. Кое-кто позапасливей заготавливал впрок, на зиму всё, что удавалось добыть. Для этого дружки изготавливали из простыней и наволочек тару для лущёной кукурузы, сои, бобов. Всё это сушилось

и пряталось в подвал единственного корпуса для малышей, где были настланы деревянные полы...

На кухне ребят встретила повариха тётя Нюра, полная, всегда как бы распаренная и сонная. Она сидела на маленьком стульчике и, позёвывая, чистила картошку.

– Молодцы, робяты, раненько устали! – повариха была из Белоруссии.

Она высыпала из фартука в корзину картофельную кожуру, зевнула, и вдруг лицо её стало хмурым.

– Хлеба-то ня будить, робяты. Прийдётся лепёшки пекти, а мука, считай, вот она и уся. Ну, на один раз, може, и хватить, а тады чего, а?

Ребята молчали, а она, подойдя к ним, задрала Серёжкину рубашку и сыграла у него на ребрах костяшками пальцев.

– Боюся я голода, ох, боюся!.. Помню, як у тридцать третьему годи...

– Да ладно, тетя Нюр, чего вы так, – успокоил её Гришка, и она тут же закивала, соглашаясь и вытирая слезы.

– Надо наносить воды два котла, принести соломы, будем печь лепёшки да варить борщ. Чего же это моя помощница не идёт?

– А кто сегодня дежурит из девчонок? – спросил Гришка.

– Да, кажись, Татьяна Петровны девочка.

Гришка покраснел и отвернулся. Серёжка знал, что его старшему другу нравится дочка воспитательницы, Женька. Она и ему, Серёжке, нравилась, но, наверно, как-то по-другому.

Они взяли чан и пошли по воду. Возле урючного сада, который пожелтел и наполовину осыпался, сходились два арыка, а чуть в сторону, пониже, был родник, и вот из-за этой-то смешанной родниково-арычной воды и шла война между детдомовцами и местными жителями – казахами, дунганями

и киргизами. Детдомовцы делали запруду, чтобы вода наставлялась, была чище и чтобы не возиться с ковшиком, а набирать сразу ведром или даже чаном. Сейчас, осенью, когда всё было убрано, с водой было полегче. Двое дежурных зачерпнули почти полный чан воды и вынесли наверх. Дорога возле урючного сада была засыпана листвой, ноги скользили, да и чан был тяжёл, дежурные часто останавливались, менялись местами. Выходило солнце. Его первые лучи как бы приблизили вершины Тянь-Шаня, по дороге поползли длинные тени, всё вокруг окрасилось в желто-горячий цвет.

Метров за двести от столовой их встретили тётя Нюра и Женька, но ребята сделали вид, что не понимают, чего от них хотят: неудобно было уступать чан женщине и девочке.

– Мальчишки, вы уже утомились, чего хвастаете?! – звенел Женькин голосок. Поверх цветастого выгоревшего платица на ней была коричневая вельветовая куртка.

– Нехай нясуть, крепча будуть!

Они еще раз сходили к роднику, потом наносили соломы и стали топить печь. Горящая охалка змеилась, пыхая наружу. Из котла шёл дымок, пахло прижаренным тестом. Тётя Нюра ловко поддевала ножом лепёшки, быстренько их переворачивала и кидала в тазик, стоявший на глиняном полу.

– Ну-ка, мальцы, испробуйте! – Она разломил лепешку на три части, смазала коровьим маслом и дала дежурным.

Женя по локоть вывозилась в тесте, на лоб ей падали волосы, она подошла к ребятам и попросила:

– Эй! Повяжите голову полотенцем.

Они переглянулись. Гришка покраснел и кивнул Серёжке, а сам отвернулся. Серёжка сделал ей тюрбан и подмигнул.

Во дворе уже слышались детские голоса. Ребят тянуло к столовой. Нет-нет да и просунется в дверь чья-то сонная мордашка, потянет носом, вздохнёт и уставится жалобно на поварах и на дежурных. В первые дни своей работы в детдоме тетя Нюра не могла выносить такие взгляды, спешила что-нибудь дать пацану или девчонке, но потом поняла, что паёк есть паёк: дашь одному – обделишь другого.

Привела своих малышат и Татьяна Петровна.

Воспитательница была тоненькая, с узлом светлых волос и в ситцевом платье из той же материи, что и у её дочери.

– Здравствуйте, ребята! Добрый день, Анна Федоровна! Это правда, что хлеба не будет?

Тётя Нюра смотрела на неё ласково. Кто ещё, кроме Татьяны Петровны, называет её по имени-отчеству? Да разве дело только в этом. Воспитательница, точно насадка, целыми днями возится со своей малышнёй. Вот они шумно рассаживаются и набрасываются на лепёшки, жадно прихлебывая молоко.

– Мама Таня, а я ещё хочу пышки!

– Татьяна Петровна, а нам всегда будут давать лепёшки?

Воспитательница ходит от стола к столу.

– Заставь ты её поесть, а то усё раздасть! – Тетя Нюра, покачивая головой, подтолкнула Женьку к окошечку.

– Мам, ты бы поела, а то остынет...

– Да, да, Женечка, я сейчас...

– Добрый день, Нюрочка, – послышался масляный голос, и на пороге вырос Игорь Иванович, длинный, кадыкастый воспитатель. Из-за плоскостопия или чего-то такого его не взяли на фронт, и ребята с детской жестокостью презирали и преследовали его. А у Жени были особые причины не любить этого человека – все знали, что он увивается

за её матерью. Во время громкого чтения или на собрании кто-нибудь из ребят вдруг кричит: «Пацаны, Танечка идет!» У Игоря Ивановича дергалась шея, он краснел, как рак, и кричал: «Вс-стать, бесс-стыдники! Выйти вон!»

– Садитесь, Игорь Иванович, садитесь, – приглашала повариха, делая радушный вид и усаживая его на табурет, но так как руки у неё были в муке, то на плечах полувоенной рубашки воспитателя отпечатались расплывчатые белые погоны.

Дежурные успели испечь картошки и уже два раза выходили из кухни проведать и подкормить своих дружков. Обеденный борщ доваривался, когда повариха послала ребят за конюхом:

– Картошка уся вышла, нехай опосля обеда едять на подсобное...

– Так он же сегодня уже ездил! – удивился Гришка.

– Ён... – тётя Нюра запнулась, – ён ня туды ездил...

– Я схожу, ладно, тёть Нюр, – вызвалась Женя. – Ладно, коли...

Женька вышла, но через несколько минут вернулась взволнованная.

– Ты чего, Жень? – спросил Серёжка.

– Тёть Нюр, он заболел...

– Заболе-ел? – протянула повариха. – Маме-то сказала? Горе тай годи!

Женька вызвала из столовой мать и зашептала с нею.

– Егор Алексеевич заболел, – только и услышал Серёжка. Но отчего у них у всех такой таинственный вид, точно они никогда не видели больных?

– Вот что, робяты, Егор Алексеевич приболел, а ехать надоть...

– Да мы и съездим, тётъ Нюр, маленькие, что ли?! – убеждал повариху Гришка. Женька бросила на него благодарный взгляд.

– Лошадей-то запряжётё? Ладно уж. Беритя мешки, а лопаты там есть.

Они втроем запрягли лошадей, настелили в бестарку соломы. На выезде из двора к ним снова подошла тётя Нюра.

– Гриша, ты старшой, ты это... на обратном пути, може, заглянули бы на кукурузное поле... Да только остороженько, как бы объездчик ня захватил...

– Ладно, ладно! – Гришкин басок дал петуха от такого важного поручения.

Выехали из села, и пошла выжженная степь. Было безветренно, в воздухе висела пыль. Ни единого деревца до самого Тянь-Шаня, только вдали на берегу Чу еле-еле зеленел кустарник. В степи пахло полынью.

– Ну чего ты молчишь, давай говори, что там с конюхом?! – спросил Серёжка.

– Ой, мальчишки, это тайна! Если бы я могла... Мама меня просила никому.

Видно было, что ей ужасно хочется поделиться своим секретом.

– Только вы никому, ладно, никомушеньки?! Понимаете, наш конюх – он вовсе и не конюх... ах, нет, сейчас-то он конюх... Понимаете, он больной, у него припадки, эпилепсия называется... Душевнобольной, а так здоровый...

– Больной, не больной, – пробормотал Гришка. – А почему он не конюх, кто же он? Да ты не бойся, Жень, мы никому не скажем, ей богу, ну хочешь – слово всех вождей! Серёжка, клянись!

– Слово всех вождей!

– Да, вам хорошо! А его уволят... Если узнают – сразу уволят, потому что душевнобольным нельзя с детьми, а он тихий и добрый... Он, понимаете, он раньше был профессором в Ташкенте, в университете...

– Ух ты! – удивился Серёжка. – А что с ним сделалось, отчего он заболел?

– Отчего, отчего... У него погибли сразу два сына, лётчики, понимаете, он в один день получил две похоронки...

Они долго ехали молча. Каждый по-своему думал о том, что узнал.

Серёжке теперь казалось, что он и раньше замечал в конюхе что-то странное: этот его рассеянный взгляд, книги. Разве простой сторож и конюх будет читать такие книги, как «Всемирная история», «Плутарх», некоторые названия были такие, что Серёжка не мог их запомнить. Его самого интересовали совсем другие книги: «Спартак», «Три мушкетера», Аркадий Гайдар... И ещё он подумал о корзинках и вазочках – их мастерски изготовлял из лозы Егор Алексеевич, чтобы продать или выменять на продукты, которые отдавал малышам.

Гришка был старше своего приятеля на целых три года, весной его приняли в комсомол, и он прямо на глазах сделался серьёзным. Вот и теперь он не стал ни с кем делиться своими мыслями.

Рядом уже грохотала и пенилась Чу. До подсобного было ещё километра три.

– Мальчишки, искупаемся.

Женя первая вошла в воду, не снимая платица. Мальчишки стали нырять с трамплина, и никто не заметил, как быстрое течение унесло Женины розовые бантики. Теперь ехать стало прохладнее, да и пыли здесь было поменьше,

всё же рядом река. Мокрые Женины волосы свободно падали ей на плечи и колыхались от движения бестарки, платице прилипло к телу, обозначив ключицы и комочки на груди.

Подсобное хозяйство детдома раскинулось прямо в степи, просто тут был не такой крутой берег Чу. Каждую весну ребята и взрослые проделывали кетменями арыки и каналы от реки к подсобному, но сейчас сушь была такая, словно эта земля вообще никогда не знала воды. На берегу стояла юрта, в ней жил старик Харитоныч, инвалид, потерявший на фронте левую ногу. Из юрты выскочила грязная, с отрубленным хвостом собачонка и кинулась на ребят.

– Пошёл вон, Жучок, пошёл вон! Это вы, ребятки? А я немного соснул... Да и чего тут сторожевать, а? – он обвел рукой вокруг. Чахлые кустики картошки, наполовину уже выкопанной. Низкорослые стебли кукурузы без початков. Жёлтые помидорные кусты, также пустые.

– А Ягор-то чего не приехал, я его ещё утречком ждал...

– Да он заболел, – негромко ответила Женя.

– А-а, – промычал Харитоныч, точно так же, как и тётя Нюра, и ребята поняли, что Женин секрет для взрослых давно не секрет.

Ребята подкапывали кусты, а Женя собирала картошку в ведро. Харитоныч разнуздал лошадей, положил им охапку подсохшего курая и стоял тут же, наблюдая за ребятами. Тяжело входили лопаты в закаменевшую землю.

– Это вить что за картошка, а? Ну чего есть детям, когда такая сушь? – говорил сам с собой Харитоныч.

Кое-как они набили верблюжий мешок картошкой, и, когда собрались уезжать, инвалид вынес из юрты две небольшие дыньки.

Людей в деревнях не хватало. Кукурузу расклевывали птицы, но указ о воровстве был строг. Получалось так, что лучше пусть всё пропадёт, но не достанется людям. Женщины и дети ближайших к Токмаку посёлков и деревень разрывались между посевами риса и табака, ребят детдомовцев гоняли на колоски, а кукуруза, прекрасная еда, пропадала. Конечно, если бы это поле лежало поближе к детдому, ребята по своему справились бы с этой работой, а так им легче было промышлять в соседних хозяйских огородах. Правда, к этому времени они были убраны. Иногда на это дальнее поле наведывались воришки из местных да детдомовцы, но воришек гонял Санжан, Мераб и объездчик. Камча дунганина с одинаковым удовольствием прогуливалась по спинам детдомовцев и пыльным рубашам его сородичей.

Поливные арыки, разбежавшиеся по полю, иссохли, земля пошла трещинами. Ребята знали местечко недалеко от въезда на это поле. Там – родник, вокруг него зелень, островок лета. Подогнали туда бестарку, распрягли лошадей, разнуздали их.

– Жень, ты у нас за часового. В случае чего кричи вроде как на лошадей: «Эй, куда вас понесло?!» – договорились? Да не бойся! – подбадривал девчонку Гришка.

С краю початков не было, торчали голые грубые стебли. Друзья, каждый с верблюжьим мешком в руке, продирались сквозь заросли. Дойдя до початков, принялись ломать и очищать их, чтобы больше влезло в мешок. Кукуруза так высохла, что малейшее прикосновение вызывало треск. Ребята увлеклись, разговорились, потом разошлись в разные стороны и, когда услышали треск, каждый подумал, что это другой пробирается к нему.

Серёжка оглянулся, услышав дыхание лошади и запах её пота. Кинулся было бежать, но его остановил крик Жени:

– Мальчишки, объездчик!

Санжан чуть подал вперёд своего серого, и камча опустилась на спину детдомовца. Он дёрнулся и закричал:

– Гришка, шухер! Гришка-а...

Санжан ещё раз перетянул плёткой Серёжку и направил коня в сторону Гришки, бежавшего поперёк поля к роднику. Сергей кинулся туда же, но проклятый мешок бил его по ногам, пришлось бросить его. Он слышал ёканье селезёнки Санжанова коня и видел, как старший товарищ бежал, не бросая мешка с початками и пригнув голову. Гришка добрался до каурого Матроса, который спокойно пощипывал травку, вскочил на него и закричал Жене:

– Верёвку, верёвку давай!

Сергей остановился, не понимая, что задумал его дружок, а тот, схватив с бестарки верёвку, сложил её вдвое и пришпорил коня в сторону Санжана. Сильно замахнувшись, этот увалень Гришка протянул объездчика по руке так, что его камча отлетела в сторону, а широкая соломенная шляпа повисла на ремешке, обнажив коротко остриженную чёрную голову.

– Хватай камчу! – закричал Гришка другу, и тот, подражая старшему, схватил плётку и перетянул ею коня объездчика, который отпрыгнул в сторону. Санжан не стал дожидаться следующего удара, он пришпорил коня и поскакал в сторону Карасая.

– Ой, мальчишки, это я виновата, задумалась, а он и подобрался... Ну ка, покажи спину, Серёжка.

Он задрал рубашку, и они увидели на спине кровавый длинный рубец.

– Не больно, ей богу, не больно!

– А что, мальчишки, не поедет он в детдом?

– Да ты что, Жень? Разве он дурак? Я думаю, что мы можем ещё наломать кочанов. Теперь нас никто не тронет! – сказал Гришка.

Кое-как погрузили полнехонькие верблюжьи мешки на подводу.

– Аи да ребята, аи да молодцы! – говорила тётя Нюра, смазывая Серёжке спину коровьим маслом. Они чувствовали себя героями. После обеда повариха пошла на часок вздремнуть. Когда за нею захлопнулась дверь, Женья прошептала:

– Мальчишки, сходим к нему, а?

Они сразу поняли, куда нужно идти. Стучать не пришлось: дверь в сторожку была приоткрыта. Здесь пахло стружками и столярным клеем. Егор Алексеевич, сидя на топчане, плёл корзинку. У его ног стояло корыто с водой, в котором отмачивались прутья. На столе лежал новенький перочинный ножик. Сторож обдирал им прутья и переплетал их с неободранными или подкрашенными в разные цвета.

– Садитесь, ребята, садитесь...

– Мы вам дыньку принесли, Харитоныч передал.

Егор Алексеевич быстро нарезал дыньку, стал угощать ребят. Воротник его серой сатиновой рубашки был расстегнут, и мягкие волосы на голове и такая же по тону борода отсвечивали голубизной, потому что и глаза у него были голубые.

– Так вы были на подсобном? – спросил сторож. – Картошки привезли?

– Ага! Мы и кукурузу привезли, – сдерживая смех, сообщила Женья.

Егор Алексеевич, улыбаясь, прощупал глазами лица ребят. На пороге показалась Татьяна Петровна. После яркого

солнечного света она не сразу увидела ребят в полутемной комнате.

– Это мы, мам! – Женя вскочила и взяла её за руку.

– А! Герои... Ну рассказывайте, что вы там натворили?! Это что же теперь будет, а?

– Не беспокойся, Танечка, – мягко сказал Егор Алексеевич, – садись.

Ребят поразило и то, что он назвал воспитательницу Танечкой, и то, что она приняла это как должное.

– А он не придёт к нам жаловаться?! – всё ещё с тревогой спросила она.

– Жаловаться?! Да вы что, Татьяна Петровна, станет он позориться. Вот его камча!

– Прямо разбойники! Вы видите, кого мы растим, Егор Алексеевич?..

Конюх нагнулся и вытащил из-под столика фигурную корзиночку:

– Вот он, заказ вашего врага. Я думаю, всё уладится.



ДРУЗЬЯ

Но ещё никогда Серёжка не просыпался в таком настроении, какое у него было сейчас.

Правда, он и в сторожке сперва огляделся, что бы отыскать да съесть. И уже хотел было вставать, обшаривать углы, но вспомнил, где он и что, и как бы вновь пережил вчерашний вечер.

Комната выстыла, но печка хранила тепло. Окно разрисовал мороз. Ходики на стене показывали начало десятого. Вот это храпанул! И никакой тебе зарядки, уборки и чего там ещё! Пусть себе трещит мороз – никто тебя на улицу не гонит!

На столе стояла алюминиевая миска, накрытая полотенцем, вчера в ней были остатки картошки в мундире. Да вот оно – сало! Он вытащил из кармана нагретый свёрток, в это время под окном заскрипел снег, и вошла Наташа.

– Проснулся? Захочешь есть, в духовке затирка.

Она искала рукавицы, а Серёжка, сидя на печи, разглядывал её. Хотелось заговорить с нею, но о чём? Она почувствовала его взгляд, и её румяное лицо стало пунцовым, а движения скованными.

– Что вы ищете? – спросил он, хотя слышал, как она ругала «ции прокляти рукавыци».

– Подывысь, хлопчик, чи там их немає? – спросила она, избегая глядеть ему в лицо. И когда он подал ей матерчатые, стёртые на пальцах рукавицы, она угловато повернулась и поспешила уйти.

Сергей сидел, вспоминая её лицо, румяное, полнокровное, доброе, казавшееся круглым оттого, что она была повязана платком до бровей. Вспоминал её смущение, которое так не вязалось с её плечами и грудью, распиравшими фуфайку. А потом представилась Маша, такая же простодушная и крепкая, даже ещё крупнее, и вдруг ему стало неудобно: они там работают, а он валяется, как барчук или блатной...

Он вытащил из духовки миску, быстро похлебал затируху, сваренную на перегоне. Потом отрезал тоненький кусочек сала и положил за щёку – как кладут конфету.

Ботинки его за ночь ссохлись, он сунул ноги в чьи то чёрные, подшитые на пятках валенки, снял с гвоздя старую просторную фуфайку и вышел на улицу. Было солнечно и морозно. На юге слепили глаза снеговые отроги Тянь-Шаня, казавшиеся в солнечную погоду совсем близкими. На противоположной стороне дороги тянулись выбеленные деревенские хаты, на пирамидальных тополях, запушённых инеем, сидели галки. Видно было, что тут живут переселенцы с Украины. Возле домов малы шата катались на санках, сюда доносились их звонкие голоса, лай собак. До сараев было метров пятьдесят. Сергей, поеживаясь в широкой для него одежде, увидел, подходя, кочковатый пол и толкавшихся у корыт тощих и грязных свиноматок.

Маша с Наташей стояли у деревянной клетки, по которой ходила, повизгивая, большая, с отвисшим брюхом свиноматка. У неё уже налились соски.

– Ух, яка ж ты у нас госпожа! – смеясь, говорила ей старшая сестра. – Надо сказать диду, шоб поглядев за нею...

В загородке стояли сани. Сестры стали выносить навоз. Серёжка, глядя, как вроде бы легко они это делают, тоже принялся за работу. Но сначала он никак не мог набрать

в грабарку навоза, потом, видя, что сестры берут его с краешка, как бы подскребывая при этом землю, сделал так же. Теперь нужно было вынести то, что он подцепил, но нести оказалось ещё труднее, хотя, на взгляд со стороны, сестры просто шли вослед за своими полными грабарками.

– Вишь, работник! – сказала Маша сестре, потом крикнула ему: – Бежи у хату, ще наработаешься.

Он промолчал, набирая в грабарку навоз.

– Эй, ты! – услышал он тоненький голосок, возвращаясь после очередной удачной попытки. Голосок был срывающийся, девчоночий. Сергей оглянулся: посреди база стояли мальчишка и девчонка, очень похожие друг на друга. Мальчишка был лет четырнадцати, коренастый, в фуфайке и валенках, через правое плечо на шнурках висели коньки снегурочки, из под шапки выбивались рыжие волосы, да и лицо было в веснушках.

В Серёжкиной голове сразу вспыхнули две мысли. Первая: домашняки, а с ними надо драться или выманывать у них «мандру», то есть хлеб. «Домашняя вошь, куда ползёшь? В детдом под кровать – простыни воровать?!» Рыжий по виду сильнее его, но он зато старше и, конечно, ловчее.

Девчонка выглядела года на два моложе брата. Она была в коротком чёрном кожушке и в мальчишеской шапке. Лицо, хотя и обветренное, нежно розового цвета, как это бывает у рыжих. Пока Сергей их рассматривал и соображал, как поступить, пока он неосознанно надвигался на них, они пятились к ограде. Упершись в хворостяной заборчик, рыжий так и застыл, а у девчонки было такое выражение, что она сейчас что то выкрикнет, начнёт смеяться и дразниться.

– Ну, вы чего? Вы кто? – спросил Серёжка, тоже останавливаясь и чувствуя, что без причины ему как-то неу-

добно лезть в драку, да и хлеба просить было неудобно, хотя прежде он проделал бы и то и другое не задумываясь. Не та обстановка. Положение было глупое, и недавний колонист бессмысленно твердил:

– Ну, чего вы? Кто вы?

– Мы – никто! А ты – кто?! Кто?! – выкрикнула девчонка тоненько и с такой интонацией, когда от человека можно ожидать и слёз, и хохота.

Что-то в ней задевало Серёжку. Этот её кожушок, отчаянное выражение лица и выбившиеся из под ухарской шапки длинные волосы.

– Ну, раз вы никто, то и я никто, – сказал новичок и внезапно рассмеялся – неожиданно для себя.

– Ой, Лёнька, бачишь! Бачишь! Я ж казала, казала! – выкрикивала девчонка, дергая брата за рукав и указывая глазами на смешную Серёжкину берётку. – А нам дид усё рассказав, ага! – отчаянно взвизгнула она и совсем отдалась веселью. Теперь разморозился и мальчишка: глядя не на Серёжку, а на сестру, у которой текли по щекам крупные прозрачные слёзы, он схватился за живот, даже коньки съехали с плеча в снег.

– Ой, Галька, замовчи, не могу, не могу!

– Познакомылись?! Ну и гарно! Верить его, нехай гуляе, – говорила Маша, стоявшая посреди база с улыбкой.

– Пойдѣшь на коньках кататься? – спросила девчонка. Она дотронулась до его плеча рукой в белой варежке, и он увидел, что и глаза у неё какого-то рыжеватого оттенка, и кивнул, соглашаясь.

– Не-е, – помотал головой Лёнька, – айдате сперва до Васьки.

Они пошли в сарай и остановились у самой крайней, добротной клетки. В ней жил-поживал Васька, откормленный кабан. Сейчас он нехотя ковырялся своим пяточком в корыте, выплёскивая хлебово из картошки, присыпанной отрубями и приправленной обратом. Пол вокруг этой клетки был подрит, зацементирован и опять подрит: всегда голодные Васькины сородичи всячески пытались пробраться в эту клетку.

– Васька, Васька! Видишь, jakый вин важный! – Лёнька почёсывал кабану бок, а тот в благодарность похрюкивал и прилегал на руку.

– А чего он такой? – спросил Серёжка, уж очень отличался кабан от других свиней в сарае.

– На посевную откармливают, весной будут резать, – отвечал Лёнька. Серёжка убедился, что он прекрасно может говорить по-русски.

– Что, одного зарежут? А хватит?

– Дак на всех-то не хватит, а что ж теперь, кормов-то мало... Вот когда наедемся мяса, правда, Галька?!

– Жа-алко Ваську, – протянула девчонка.

Кабан был такой округлый, чистый, розовый, что колонист невольно дотронулся до кармана, где у него было сало в газетке. Он подумал, что стоит поделиться с новыми знакомыми, но тут же отогнал эту мысль, найдя простое оправдание: сало принёс ему дед, а они дедовы внуки, значит, у них всё есть. Но отчего же они мечтают наесться досыта мяса? Да и по виду не скажешь, что они так уж раскормлены. Нет, их, конечно, не балуют. От Васьки отходить не хотелось, так и тянуло почесать ему бока и почувствовать на руке тяжесть, а потом трудно было смотреть на тощих, точно гон-

чих, свиней. Особенно жалко было свиноматок с отвисшими до полу пустыми сосками.

Маша и Наташа кончили убирать в сарае, но был ещё один такой же, и Серёжка подумал, что будь у него побольше силёнок, он обязательно помог бы, а то он уже устал и замерз. Кроме того, ему было не по себе из-за проклятого сала. По неписаному закону полагалось беспризорнику никогда не жадничать. И тут выручил случай. Когда он с дедовыми внуками вышел из сарая, Галя сказала со вздохом:

– Ой, мальчишки, и есть же хочется!

– А у меня вот сало! – с облегчением сказал Серёжка. – Только хлеба нету...

– Хлеба я зараз принесу, – сказал Лёнька, – держи коньки. Так у новичка появились новые друзья.



КИТЕЛЯ

Как-то утром Серёжку разбудил стук в окно. Дед ушёл после дежурства домой, а сёстры управлялись в сарае. Парень пошёл открывать двери, увидел почтальона – и у него остановилось дыхание, но длилось это недолго; он прочёл отпечатанный на машинке адрес и усмехнулся: «Ты-то чего, чудака?!» Письмо было адресовано Маше, а ему, Серёжке, давно уже никто не писал – некому было... Он смотрел на конверт, сидя на лавке, и вспоминал...

В детдоме приносили почту рано утром. У почтальона-дунганина были редкие волосы на бороде и как бы застывшее лицо. Впрочем, вблизи Серёжка так его ни разу и не увидел. Домик воспитателей находился метрах в пятидесяти от мужского общежития. Почтальон стучал в угловое стекло, и к нему тотчас выходил сторож, он же и конюх. Оба знали, что за ними наблюдают из барака, а сторож чаще всего знал даже, кто именно, потому что раньше всех вставали дежурные по кухне. Он всегда становился спиной к барaku, но обмануть ребят ему не удавалось... Если была похоронка, он резко выхватывал письмо из рук дунганина или же его собственная рука на мгновение повисала, и почтальону приходилось всовывать в неё письмо.

Серёжка получил свою последнюю похоронку в сорок четвёртом, но каждый раз, когда он видел почтальона, ему становилось не по себе...

– Эге! Вот и оно! – с усмешкой сказала Маша, распечатывая конверт.

– Налог? – спросила Наташа.

– А то шо ж! – Она резко скомкала конверт и бросила его в топку. И внезапно с какой-то странной усмешкой быстро оглядела Сергея, его фигуру, но когда он поднял лицо, она отвернулась и хмыкнула. Ему стало не по себе, и он поспешил выйти на улицу.

– Я на коньках...

В те дни у него не было ещё никаких обязанностей, он, правда, старался помогать сёстрам, но был слаб и быстро уставал. Обязанности появились сами собой. Как-то после обеда сёстры сидели на скамейке и чистили мелкую картошку, а он, примостившись на другой лавочке, читал принесённую Галей книжку «Макар следопыт – соколиный глаз».

– Чего ты там всё усмехаешься? Хоть бы нам почитал, – сказала Маша, и он стал читать вслух. Сестры ойкали, удивляясь приключениям мальчишек, которые из-под носа у белогвардейцев вводили машину и даже самолёт.

И вдруг в дверь постучали.

Маша вышла на улицу и тут же возвратилась с высоким парнем в полушубке, солдатской шапке и валенках. Через плечо у него висела сумка-планшет. Он напоминал Серёжке плакатного солдата времён войны. По выражению лица и жестам было видно, что парню хочется выглядеть постарше и посолиднее.

– Та-ак! – сказал он, оглядываясь и скидывая полушубок. По мере того как он убеждался в бедности окружающей его обстановки, взгляд его оттаивал, и наконец лицо стало растерянным.

У него оказался такой же, как у Серёжки, китель, но, конечно, поновее и по фигуре. И сёстры, и сам Сергей сразу обратили на это внимание, и им стало смешно – очень уж разными были эти двое в кителях!

– Ага! – сказал пришедший. – Ещё и смеёмся?! – Он вытащил из планшета блокнот, ведомость и, строго сведя на переносице чёрные брови, сказал: – Мария Ивановна Федосюк?

– Ага! Я... – ответила Маша, широко улыбаясь.

– Наталья Ивановна Федосюк?

Наташа кивнула и покраснела. Было видно, что ей очень нравится налоговый инспектор, молодой, чернобрый, ухоженный, от него даже пахло одеколоном. Наташа не могла смотреть прямо в глаза ему.

– Значит, веселимся? – сказал он с наигранной строгостью, чтобы подбодрить самого себя. – Эт-то хор-рошо! Но вот кто за нас будет платить бездетность, а? Пушкин?!

– Да чем же её платить, денег-то нету, не дают? – отвечала Маша, всё еще улыбаясь.

– Что значит нету денег, вы же работаете, живёте...

– Ще и як работаемо! – вскричала Маша и вскочила на ноги, собираясь выйти из-за стола.

– Нет, вы сидите, гражданочка, вы сидите, – почти растерянно сказал пришедший. Серёжка видел, что он уже не знает, как выпутываться из этой истории. Он, кажется, сочувствовал сёстрам.

– Да ты знаешь, сколько мы зарабатываем? Не знаешь, так я тебе скажу: по два трудодня на каждую у день, четыре штуки, понятно?! Мало тебе?! Ну и вычитай, что там положено... Та чи ты не русский?! Где же они, те мужики, чувствуешь? Дети-то звидкиля берутся, а? – захохотала Маша. – Я ж тебе не святая Мария?!

– Моё дело сказать... А так что ж, я понимаю... Да вот вроде обещают в этом году дать на трудодень...

– На то и надеемся, – сбавив тон, отвечала Маша. – А насчет налога будем что-нибудь думать. А то, может, и му-

жичишка где завалялся, а?! Ты не знаешь? – и оглядела инспектора с ног до головы.

Парень взял свою одежду и стал поспешно прощаться. Его ладонь утонула в Машинной, зато рука Наташи вдруг обмякла в его руке, и все на миг растерялись. Налоговый инспектор быстро выбежал на улицу, неся в руках полушубок и шапку.

– Ну и чего ты тут рассилась, як мужика сроду не бачила?! – закричала Маша на сестру. Та всхлипнула и в одном платье, как была, выбежала на улицу. Но через минуту вернулась и, задыхаясь, закричала:

– Ой, опоросылась! Вже чи збила одного...

Маша быстро накинула на плечи фуфайку и бросилась к дверям. Сестра за нею. Серёжка тоже потянулся к гвоздю, чтобы схватить какую-нибудь одежонку. Внезапно Маша остановилась у порога, покрутила головой:

– А ты куды, китель?! Мужик тоже мне... Поняй за соломой...

Он знал, что ему надо пойти на МТФ, находившуюся почти напротив сторожки, по другую сторону улицы, запрячь в арбу волов, набрать из скирды соломы и привезти на свинарник. Всё проще простого, но ничего этого он делать не умел.

Он вошел во двор МТФ, и, на счастье, там оказался казах-молоковоз, выгружавший из саней пустые бидоны. Это был тот самый человек, что дал ему докурить в день приезда.

– Дядь, надо привезти соломы, а я...

– Ха! Соломы... – молоковоз взял его за руку и повел к сараю. Здесь пахло навозом и жвачкой. Казах отвязал от яслей черно-рябого вола, у которого выпирали на боках рёбра, и протянул верёвку парню:

– Держи налыгач...

Сергей потянул за верёвку, и вол, не упираясь, но и не спеша, обдав его тёплым дыханием, пошёл за ним. Молоковоз привел второго вола.

Когда подъехали к скирде, оказалось, что Серёжка забыл взять вилы. Пришлось бежать на свинарник. В котельной стоял визг. Сёстры возились с поросятами. Наташа стелила в большую кошёлку солому, брала в руки маленькое розовое тельце, говорила что-то ласковое, точно ребёнку, и отправляла новорожденного в тёплое гнездышко. Маша, держа в правой руке поросёнка, а в левой бутылочку молока, запихивала ему в рот соску.

Серёжка схватил вилы и бросился к скирде. По неопытности он не мог делать это простое дело, вилы вертелись в его руках; молоковоз, покачав головой, сам принялся нагружать арбу.

– Учиться надо, – говорил он, тщательно подбирая русские слова, – запрягать, нагружать, – и похлопал парня по плечу, – понятно?

С волами новичок приспособился управляться через неделю: спокойно стоял в арбе на дышле и покрикивал: «Цоб-цобе!» А вот с вилами дело было туго. Не только Лёнька, но и Галя работали быстрее и ловчее его. Лёнька легко набирал и скидывал полные навильники, а Серёжка то и дело натыкался на смёрзшиеся куски половы.

– Да не так ты держишь, вот неумека! – кричала снизу Галя. Она вскарабкивалась на арбу, оттуда на скирду и спокойно, точно без усилий, набирала хоть и небольшие но хорошо очёсанные навильники. Понемногу и Серёжка приспособился как бы подкручивать вилы и подавать их на себя, а уж потом отправлять в арбу.

Вечером того дня, когда приходил налоговый инспектор, сёстры долго не ложились спать. Они возились с поросятами и рассказывали деду о дневных событиях. Решили выгнать самогону, продать его и заплатить за бездетность.

В эту ночь Серёжке начал сниться его кошмарный сон с голосами. Он так рванулся, что Маша проснулась и вскрикнула: «Ты чего?! Чого ты?! Спи, спи...» – и приобняла его своей мягкой рукой. Но от этого ему стало не легче, наоборот... Выравнивая дыхание, он слез с печи и подсел к деду.

На следующее дежурство сторож пришёл позже обычного, когда совсем стемнело. За спиной он нёс в рядке громоздкий предмет. Серёжка сообразил, что это и есть самогонный аппарат, – он видел, как сёстры заквашивали брагу. Теперь они занялись бидоном и поросятами, а дед стал прилаживать аппарат к котлу.

Часа в два ночи всё было готово. Наташа вышла на улицу и, возвратясь в хибарку, сказала: «Метёт, запаху немає, витер вид посёлка...» На это сторож ответил: «Це гарно! Це то, що треба!»...

В бидончик сначала закапала, а потом полилась тоненькой струйкой остропахнувшая жидкость. Дед вытащил из кармана припасы: полбуханки чёрного хлеба, несколько мочёных яблок и солёных огурцов.

– Сала бильше немає, – сказал он Серёжке и грустно улыбнулся. Перекрестившись, дед снял пробу.

– Ну и як вин? – спросила Маша.

– Дюже добрый! – отвечал сторож, вытирая усы. Маша также выпила спокойно, а Наташа задохнулась и закрыла лицо руками.

– Ну-ка, и ты спробуй, – дед протянул кружку Сергею. Тот отхлебнул глоток, и внутри у него загорелось. Дед сунул ему в руку кусок хлеба и мочёное яблоко.

Маша приложилась ещё разок и, закусывая, засмеялась за кашлялась:

– Ой, диду, як бы вы бачили? Сыдять, голубчики, обыдва у кителях, ну той инспектор тай наш Сергей. – Она взърошила парню волосы и на миг прижала его голову к груди...

– Эге ж! А чи гарный хлопец цей инспектор, га?

– Та, спросить у Наташки, вона аж рот раззявила!

– Да ну вас! – вспыхнула Наташа. – Пиду спать...

– Пиды, пиды, може, у во сни побачишь!..

Маша тоже ушла через полчаса. Серёжка остался со сторожем. Слышно было, как старшая сестра дразнит младшую: «Сюды б его зараз, а, Наташка?!»

Дед время от времени подставлял под струйку самогона кружку и помаленьку пьянел. Когда сестры затихли, Сергей спросил:

– А чего они сами живут? Ну, без мужиков...

– А де воны, тыи мужики? Яки на войны загинули, а ти, що прийшли до дому, не дюже хочуть жениться. Вон, бачь, Машкин мужик, – есть тут такой тракторист-гармонист, бездельник, живёт у соседнему сели... Вин, гад, пожив с Машкой мисяць, тут жив, у примах... а тоди каже: «Буду жить с Наташкой!» Га?! – Дед покрутил головой, отхлебнул самогона и закусил огурцом. – М да! А Наташка, бачь, дивчина вже така, що и сама не против. Ха-ха-ха!.. Ну, тоди Машка як узяла того Ивана за шкирку тай за порог!..

Деду стало жарко, он снял шубу, шапку, отодвинул стульчик и уселся прямо на пол – на солому.

– Стоить гора висо-ока-я-а, а пид горою гаю гай... – начал сторож вполголоса, но не смог вытянуть верхние ноты, стал прибавлять – и закончил громко и хрипло.

– Може, глотнёшь трохи, а? Заишь яблоком, воно и иийде на пользу!

Серёжка так и сделал, но на пользу не пошло: он едва успел выбежать за порог, его вырвало.

– Э-э, – неодобрительно промычал дед, но ничего не сказал.

Подкладывая в топку солому, парень незаметно для себя стал подтягивать деду, и его звонкий голос пришёлся впору, особенно в конце куплета.

Дед сидел на земле, весь седой, кудлатый, крупноголовый, и когда Сергей стал ему подпевать, улыбнулся и положил парню на плечо свою тяжкую руку.

– Я тоби, сынок-унучок, так скажу, – он погладил Серёжку по голове, отчего тому стало неудобно и он попытался отодвинуться, но дед крепко притянул его к себе. – Жизня наша – вона и есть гора высокая... Вось ция проклята самогонка – это что такое, а? А это, я тебе скажу як, чи то, как на это дело посмотреть! Як его рассудить! Оно, конечно, дело запрещённое... Да налог-то платить надо? А чим его платить, як немає денег? Ты кажешь – мужики... Так вони и мужики прийдуть на самогонку! Вот тебе и гора высокая!..

Дед выпил ещё разок, потом вдруг вскочил на ноги и затопал тяжёлыми пимами, вскрикивая: – Ух, ух, ух, ух! Як ходыв, ходыв козак!

Серёжка удивлялся, откуда столько силы у этого старого человека. Вот он попробовал пойти вприсядку, но высокие жёсткие пимы не желали сгибаться, и сторож остановился,

как бы раздумывая, не снять ли их, да махнул рукой, потом повалился на солому и тут же уснул.

Серёжка подкладывал в печь солому, пока не завизжали поросята. Он взял одного из кошёлки и сунул ему в рот соску. Другие почуяли запах молока и тоже расходились, разбудили Машу.

– Готов старый, – она кивнула на деда, распластанного на полу, – напился...

Она укрыла сторожа его же шубой, надела на голову шапку, а Серёжку отослала спать. Он откатился подальше от пышущего тела Наташи и заставил себя уснуть... И пригрезилось ему перед сном...



ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Серёжка, пошатываясь, вышел в коридор, и ему ударило в глаза горячее, яркое солнце. Он зажмурился и постоял так, держась за подоконник. Опять открыл глаза и увидел за окном внизу цветущий урючный сад, поросший травой больничный двор и пирамидальные тополя со взрослой уже, но нежной по тону и запаху листвой. Весна! Ой-ой-ой! Весна... Ура!

– Серёжка! – услышал он слабый, болезненный голосок. – Эй, Серёжка!

У соседнего окна стояла Женька – существо в коричневом балахоне, худющее, стриженное наголо, с огромными глазищами. Белая косынка подчеркивала худобу и бледность лица.

– Женька! Привет!.. – он слабо махнул рукой и вспомнил её бывшие косички с розовыми бантами, скакалку, через которую она так ловко прыгает, скручивая и перекручивая веревку. А как она умела смеяться, та, прежняя Женька, дочка любимой воспитательницы Татьяны Петровны! Благодаря ей Серёжка узнал историю Егора Алексеевича.

У соседнего окна стояли остатки прежней Женьки. Ему стало жалко её – хоть плачь!.. Но плакать как раз и нельзя, надо сказать что-нибудь небрежное, засмеяться, чтобы подбодрить её, но его качнуло, и он едва удержался за подоконник.

– Встал?! Ну, молодцом, Полозов! Ну, молодцом! – рядом стояла нянечка, баба Катя, она улыбалась ему, поглаживая по плечу. У нее было широкоскулое серое лицо, белый

халат висел на ней, как на вешалке, и видно было, что раньше она была широкая и полная.

– Пошли, дружок, уколемся, – нянечка потянула его за руку. На пороге небольшой комнатки, где кипела на примусе железная банка со шприцами и иглами, где стоял диванчик, она обернулась к Жене: – А ты, доченька, приходи минут через пять.

Серёжку уложили на топчан, он зажмурил глаза, ожидая укола, но баба Катя завозилась со шприцем, и он схватил взглядом стоявшие на столе стекляшки, припаянные друг к другу. Из верхней в нижнюю сыпался песок. Поднявшись после укола, он протянул руку и дотронулся до этой странной штуки.

– Часы, – сказала баба Катя. – Песочные часы. Подержи, коли, да только гляди не разбей! Да покличь подружку то.

– А, это песочные часы, я знаю, – сказала Женья.

– Ясно, что часы, по ним узнают время, иди лучше на укол, забоялась?

– Прямо тебе, забоялась, да меня уже колют, колют! Ты без сознания лежал...

Как цвёл урючный сад! Как белели ромашки и желтели одуванчики! Но хотя форточки и были открыты, а посреди коридора было даже распахнуто одно окно, больничный запах забивал всё остальное. Как хотелось туда, на улицу! Сейчас бы повалиться на траву и валяться на ней, кататься по ней. Весной, когда зелень была в самом соку, он не раз мечтал быть коровой или другим жвачным животным, чтобы наслаждаться сочной свежей растительностью! Серёжка почувствовал такой страшный голод, что перед глазами всё поплыло. Сел прямо на пол и сидел, глотая вязкую слюну.

Наконец песок просыпался в нижнюю колбочку. Серёжка перевернул часы и стал наблюдать, сколько пройдёт

времени, пока явится Женя. Трудно было оторвать взгляд от тёмно-коричневой струйки, которая отсчитывала время. Это здесь, неподалеку, был карьер с таким необычной окраски песком. Время! Отчего они так притягивают взгляд, эти колбочки, и что в ней, в этой струйке? Сколько просыпалось бы песка, пока он болел? Он мало что помнил. Вот над ним склоняется врач в белом халате и прижимает к его груди холодную трубочку, она кажется холодной, потому что у Серёжки сыпной тиф и воспаление лёгких.

– В больницу! – было сказано тогда врачом, больше Серёжка ничего не помнил. Песок ещё не просыпался в нижнюю колбочку, а Женя уже вот она.

– И ничуть не больно! А моя мама тоже болела, ну она уже выздоровела, позавчера её выписали...

– А я и не знал... А Гришка?!

– Гришку с ребятами послали на рис. Они ничего, а вот твой Вовка...

– Да знаю я, ладно тебе! – он не хотел, чтобы ему напоминали о смерти друга, Вовки Малахова, он слишком много думал об этом сам, это не давало ему покоя.

– Ох и есть же хочется! – вздохнула Женя.

– А ты говори себе, что не хочется! Правда, Жень, вот увидишь, сразу не будет хотеться...

– Да ну тебя! Не будет хотеться, – на глазах у нее были слёзы.

Серёжка подошёл и легонько погладил её по стриженной голове через белую косынку, но погладил как то неловко – косынка съехала, и Женя стала похожа на мальчишку. Она слабо ударила его по руке и отошла к окну – застеснялась.

– По местам, ребятки, стриженных кормить будем! – закричала баба Катя.

– А бритым не положено? – пошутил заросший бородой и усами старик из Серёжкиной палаты, стоявший на пороге.

– Ну, тебе, дед, сегодня обеда не будет, пока бороду не срежешь.

– Борода молода, да в котле лебеда, – ответил старик, запахивая халат по самую шею. Он всё мёрз, этот старый Серёжкин знакомый, сторож табачной плантации, правда, до больницы он выглядел солиднее, опаснее, тем более, что у него была винтовка. Пацаны ещё спорили, есть ли у деда патроны, а если есть, имеет ли он право стрелять боевыми? Серёжка узнал, что дед неделю назад был без сознания, температура до сорока, и то, что он выжил, удивляло даже врачей. Едва поднявшись с постели, он стал курить – днем забираясь под лестничную площадку, а по ночам прямо в окно или в форточку. Серёжке запомнились его костлявые кривые коленки, похожие на сучок внутри деревяшки, его длинная кадыкастая шея и странная для старика стриженная голова. Это был сморщенный мальчишка.

– Ты, старый карагач, опять курил ночью в палате? Вот поймаю, я те пропишу махорочки-то, не надышался на своей плантации?

– Молчи, Катерина, не бери выше чина! – отсмеивался дед. – А вот я половиком тебя, дрючок саксаульский!

– Огрей его, копшивого, огрей, Катерина! – подначивали бабы из Жениной палаты.

Обеденные столы стояли прямо в коридоре, к больничному запаху здесь примешивался дух кислой капусты и мёрзлого варёного лука, головки которого целиком попадались в щаж. На обед дали тыквенную затируху и граммов по пятьдесят кукурузного хлеба. Баба Катя принесла Серёжке кусочек масла граммов в десять, не больше:

– Это тебе за завтрак, ешь...

Надо бы поделиться с Женей, но она сидела через стол, и не удобно было при всех делиться, особенно он стеснялся Тамиру – была там такая тётка или кто её знает, как её надо было называть... Всегда накрашенная, даже здесь, в больнице, она и без того поддразнивала Женю и Серёжку женихом и невестой. Серёжка всё же отломил кусочек хлеба величиной с масло и оставил Жене. Когда всех разогнали по палатам, он постучал в женскую комнату, где лежала дочка Татьяны Петровны.

– Женька, там к тебе женишок пришёл! – услышал он грубый и насмешливый голос Тамиры.

Вообще-то Серёжка мог признаться, что у него тоже эта женщина вызывает странный интерес: то ли бухгалтер с маслозавода, то ли ещё что-то такое, но – связанное с продуктами... О ней много говорили в детдоме старшие пацаны: «Вырядился, как будто с Тамарой на свидание идёшь!» или: «Наелся, теперь тебе только Тамиры и не хватает...» Но не так-то всё просто было с этой женщиной: её и ругали последними словами, но Серёжке даже в этих последних словах слышалось что-то такое, тайное, горячее, какой-то соблазн, зависть, желание... Старшие, не стесняясь, называли вещи своими именами, но и они скрывали свои истинные мысли... И вот судьба столкнула Серёжку с этой Тамарой в больнице. Она и здесь не стеснялась: чуть окрепла, тут же прикрыла остриженную голову цветастой косынкой и давай шнырять по больнице. Внизу было две палаты, в одной из них лежали инвалиды войны. Серёжка видел однажды ночью, когда встал на двор, как Тамара прошмыгнула вниз. Идя обратно, он услышал под лестничной клеткой шепот, узнал голос Тамиры.

Когда Женя вышла, он сунул ей в руку кусочек хлеба с маслом, завернутый в газетку.

– Не-е, тоже выдумал, – на глазах у девочки были слёзы.

– Бери, бери, ей богу, я наелся. Ты же знаешь, что сразу после болезни нельзя много есть, – сочинял он, прекрасно зная, что именно после тифа страшно хочется есть – всё время, без перерыва.

Лежа вечерами в постели, он вспоминал, как вкусно пахнет поджаренная на жестянке соя или испечённый в золе початок кукурузы. Ему снились пузатые лепёшки тапанчи, правда, с ними всегда были связаны картины табачной плантации или сбора клоп-черепашки, но это чепуха, можно вытерпеть зной и ужасный смрад, особенно в полдень, когда листья табака источают свой влажный яд, – всё можно вытерпеть и сделать, зная, что за работу ты получишь лепёшку или полмиски дунганской лапши... О, дунганская лапша! Жирная, наперчённая, плотная, острая, – любые слова и восклицания были к месту, если речь заходила об этом кушанье, – о дунганская лапша! О, узбекский плов! О, казахские баурсаки!.. Он просыпался ночами и, раздражив себя, чуть не плакал от обиды...

Однажды он, крадучись, спустился во двор, зашёл за угол и набросился на калачики. Рвал их обеими руками и запихивал в рот, глотал, почти не разжевывая... А потом стал набивать карманы халата – для Жени.

Через дорогу, чуть ниже больницы, начиналось кладбище, «гробки», как говорила баба Катя. От больницы видны были покосившиеся кресты, поросшие травой, бурьяном и цветами. Здесь цвели плодовые деревья – яблони, груши. Серёжке хотелось туда. Там после похорон многие угощали тех, кто присутствовал на отпевании, – давали кусочек ле-

пёшки или даже мелкую денежку, правда, он так и не понял, чей же это обряд – мусульманский, корейский, немецкий, а может, греческий или ещё чей-то... Ведь к тому времени в Казахстане были чуть ли не все нации и народности страны. В благодарность надо было бросить горсть земли в могилу. Но что интересно – вместо слёз и плача пели и веселились!

Ещё ниже была речка. Кусты лозняка по обеим её сторонам издалека сливались в один зелёный лесок, что было такой редкостью для этих мест. Воды не видно, но Серёжа, наравне с другими детдомовцами да и местными пацанами, отлично знал каждый изгиб речки, каждый подмытый водой обрыв. Солдаты из госпиталя ловили там бреднем рыбу, иногда они взрывали бутылку с карболкой или взрывпакет, и вся рыба всплывала кверху брюхом, но это запрещалось. Местные мальчишки, да и детдомовцы, сидели с удочками или нашаривали «гнёзда», обкладывали их дерном, который вырезали тут же на берегу лопатами, и, подныривая, вытаскивали иногда до двух вёдер рыбы.

Хорошо бы, конечно, удрать на кладбище или на речку, но всё это мечты; кто тебя выпустит, разве что на пять-десять минут. А убежишь – в детдоме кормёжка ещё хуже... А тут скоро должен приехать с риса Гришка, а там, глядишь, придёт и Татьяна Петровна. Нет, удирать нельзя.

А за речкой, по обе стороны от дороги – табачные плантации, те самые, которые сторожил дед-дрючок. Густой, дурмящий голову запах.

Жени в коридоре не оказалось, пришлось опять стукнуть пару раз по двери женской палаты. Женя тихонько вышла в коридор и приложила палец к губам:

- Тише, там Тамара заболела.
- Что с ней?

- Да ну её, противная! Напилась одеколону и рвётся...
- На вот тебе калачики.
- Ох, какие вкусные, нет, правда! Знаешь, она вся провонялась. И как это мужики с такими дружат, а?..

Они не заметили, как сзади подкралась баба Катя.

– А вот тебе, идол! И тебе! И ещё тебе! – она ударила Серёжку по руке, потом Женю, потом опять Серёжку, на этот раз по затылку. Лицо у неё скривилось, голос сорвался до плача: – Что удумал-то аггел! А ну, выворачивай карманы... На гробки захотел? Нешто не знаешь, что нельзя. Враз прикинется дизентерия – и прими, мать сыра земля! Сам-то наглотался уж?! Гляди мне... Так веником и вымету на гробки... А ну, марш по палатам, сизы голуби!.. – и всё вытирала слёзы платком, снятым с головы.

Во время обеда сидевший рядом с пацаном солдат дядька Серёга, инвалид, – мужики грубо шутили «пропукал пятку-то», хотя на самом деле он был полностью без ступни, –дохнул на Серёжку запахом одеколону и спросил:

– Чего там с Тамаркой-то, не слышал? Спроси у своей девчонки...

– Да ну её, вашу Тамарку, противная она...

– Эх ты и, а ещё тёзка! Противная... Разве баба может быть противной?! Ты вот поваляйся три года в окопах, по корми вшей, тогда узнаешь, противная или нет...

Вечером после ужина Серёжка стоял у подоконника с песочными часами. Вот издалека показался старик дунганин на ишаке. Серёжка следил за струйкой – сколько просыплется песку, пока старик доедет до угла больницы. А вот шмыгнули за угол двое – солдат дядька Серёга и Тамара. Серёжка два раза перевернул колбочки, а их всё не видно.

Кастелянша, тетя Васена, была толстая и, Серёжке казалось, старая, но перед сном дед-дрючок стал рассказывать, как они рвали друг дружке волосы – Тамара и тетя Васена.

– Не поделили Серёгу! И то сказать, что там – без пятки, подумаешь! Боевой парень, как конь, застоянный. «Красное Знамя» у него! А он, кацапская рожа, стоит себе да сигарку потягивает, нет, чтобы разогнать, так ещё и посмеивается, архангел култышный!.. «А а, – говорит, – тыловые стервы! Чего им сделается?! Слаще будут!» А его, кажись, жинка загуляла, покуда он её там оборонял на фронте...

– Да у него жинок, что у тебя вшей! Ну и загуляла, бывает... Дак не все ж такие, – говорил пожилой солдат, попавший в больницу прямо из госпиталя. При ранении в грудь он потерял много крови, а тут ещё и тиф, крови не хватает, а у него редкая группа.

– Ну там все или не все, а есть и такие, что дальше некуда, взять хоть эту Тамарочку, не гляди, что красивая, а...

– Дурак он, Серёга этот! – негромко вскричал тоже тяжёлый танкист Ваня. – Дай мне встать, я ему башню то надраю! Ему абы больше перебраться, а баба тебе что, не человек?! Ей без мужика тоже не сладко, а тут эти угодники, глядишь, и сбилась с пути...

– Ты, дружок, сперва поглядишь на Тамарочку-то да сплунешь разок, – заметил пожилой. – Я-то и сам понимаю, нельзя обижать, а иную и не обидеть грех...

– Эх, батя! – простонал Ваня танкист. – Сестрёнку у меня немцы снасильничали, а жена под бомбёжкой погибла, как бежали из Курска. Сверни-ка, дед, сигарку, дай душу отвести... крути, крути, я разок...

Серёжка смотрел на танкиста такими глазами, что однажды тот усмехнулся и сказал:

- А ты, пацан, я смотрю, воевать хочешь, а?
- Кто ж не хочет!.. Я бы их, гадов!..
- Не-ет, браток, тяжело...
- Что тяжело, воевать?
- Воевать – само-собой, ну, это приказано – значит, надо... Убивать, я говорю, тяжело... Человека убивать...
- Так немцы ж!
- А хоть и немцы...
- Фашисты, звери, жечь их гадов, зубами рвать! – горячо вмешался пожилой. Он приподнялся на постели и яростно глядел на танкиста. – Чего творят, не знаешь?! Сам говоришь, насильничали, а сам – тяжело... Нашёл кого жалеть!
- Да знаю я всё, – поморщился Ваня танкист, – ты, батя, меня не учи...
- Ну, это ты чужим духом надышался! Они тебя пожалели, лежишь тут?!
- На то война... – тихо ответил танкист.
- Эх, слушаю я вас, солдатики, и в толк не возьму, – вмешался дед дрючок, – один, как барыня, рассиропился, другой аж из себя выходит, а чего? Я их в первую империалистическую колотил – гай шумел по всей Украине! Чего тут – жалко не жалко! Не ты его, так он тебя – вот и вся недолга!
- Уж ты наколотился, – усмехнулся пожилой.
- Гля, не верит! А это видал? – дед задрал полосатые больничные штаны, и на худом его бедре Серёжка увидел длинный гладкий шрам. – Штыковая! Как жиганет он меня, сволочь немецкая! Я сперва и не понял – вроде как толкнул, только горячо, ну, гляжу, кровь, и с того маху развернулся и в грудь его! Ну у!
- Да а! – с улыбкой согласился пожилой.

– Вот те и да! – подхватил дед. – Штыковая – это тебе не то, что в танке, залез в броню и сиди, пока не выкурят...

– Верно, дед, пока не выкурят, – добродушно согласился Ваня танкист.

Когда им разрешили гулять по двору, Серёжка всё разведаль. В бывшей кладовке лежали больные, а продукты хранились в кастаньянной. Это помещение было перегорожено чёрной тяжёлой шторой, и за нею хранились продукты. Серёжка полуосознанно отметил, что единственное окно кастаньянной забрано решёткой. И так же, почти не задумываясь, он проследил по песочным часам, сколько уходит времени на то, чтобы тётя Васена пронесла своё полное тело через три двери: своей комнаты, коридорной и той, что выходит на улицу. Получалось что-то около четверти всего запаса песка, примерно полминуты. И если затаиться под лестничной площадкой, то можно успеть прошмыгнуть в кастаньянную... Но надо ещё и разобраться, осмотреться и потом уже выйти после того, как... Дальше его мысли не шли. Ясно было только одно: он схватит что-нибудь съедобное и – дёру!

И ему повезло. Однажды после обеда во двор въехала арба, до верха нагруженная бельём, которое отдавали в дезинфекцию – варили, прожаривали и проглаживали. Кастаньянша, поругиваясь с казахом, привёзшим на арбе бельё, вносила тюки в больницу и возвращалась на улицу. Временами она задерживалась и вместе с хозяином волов перевязывала охапки белья и одежды.

Серёжка дождался, пока она вышла на улицу в очередной раз, быстро сбежал по ступеням на первый этаж и проскользнул в кастаньянную за чёрную штору. Здесь была тьма и пахло кукурузным хлебом, а также прожаренным бельём. Он не успел и повернуться, когда послышалось шарканье

тапочек кастелянши. Тяжело дыша, она швырнула в угол очередной тюк и забормотала: «Верёвку не могут завязать, туда перетуда!». Серёжка затаился, пережидая и приглядываясь. Вот стол, а рядом шкаф. Сейчас, сейчас она зашаркает на улицу, и вот наконец она в сердцах стукнула коридорной дверью, споткнувшись о порог. Он быстренько протянул руку к дверце шкафа, полуувидел-полунашарил кукурузную буханку, схватил её – и в коридор, а по пути сцапал белую тряпку из угла, чтобы прикрыть буханку. Тряпка оказалась наволочкой, и пацан, стоя под лестничной клеткой, снял с себя халат и завернул свою добычу ещё и в него.

Он не решался бежать на свой этаж и заворуженно смотрел на дверь бывшей кладовки, где лежали тифозные. Дверь эта была приоткрыта на ширину ладони, больные спали или отдыхали, голосов не было слышно. «Да кто закрыл эту проклятую дверь?» – бормотала тётя Васена, как-то пытаясь сладить со своей ношей, чтобы не бросать её на землю и в то же время открыть дверь. Потом кастелянша пошла на улицу, и он на цыпочках побежал наверх. Какая-то бабка, выбрасывающая в помойное ведро мусор, проводила пацана подозрительным взглядом. К счастью, дед-дрючок спал, а другие больные не страшны, им не до него. Правда, пожилой солдат слабо улыбнулся, и у Серёжки кольнуло в груди. Он спрятал буханку под подушку, потом переложил её в тумбочку. Халат он надел и положил за пазуху кусок хлеба, от запаха кружилась голова.

– Жень, – прошептал он, чуть приоткрыв дверь её спальни. Она вышла, и он поманил её за собой вниз. Арбовоз сидел в кастеляншой и подписывал бумаги, а тётя Васена, уперев могучие руки в круглые бока, посмеивалась над стараниями неграмотного человека.

Серёжка потянул упирающуюся девчонку в бурьян и крапиву за углом больницы и, не обращая внимания на её удивленные выкрики «Ты чего это?! Пусти, пусти», вытащил из-за пазухи кусок хлеба и половину отломил ей:

– Во! Ешь... да ешь ты, лопай, это мне дяденька один дал. Привезли там внизу одного, лихорадочного, а может, тифозного, – сочинял Серёжка, – на, говорит, сынок, бери, у меня у самого такой то мальчик...

– Да ешь же ты, ей богу, а, Жень?! – у него дрогнул голос, потому что чувство вины, возникшее в палате, когда ему улыбнулся пожилой солдат, усилилось и стало нарастать, и, чтобы покончить с этим, он стал быстро хватать ртом хлеб с кукурузной шелухой и глотать, не жуя.

– А, вот ты где, уркаганская твоя душа! – закричала, но закричала шепотом, баба Катя, оглядываясь, нет ли кого постороннего. – Винись, срамник, винись, пугало огородное! – она схватила его за ухо и ткнула лицом в крапиву. – Кто это так делает, а?! Где твоя совесть человеческая?! О, горе мне!

– Да чего вы, баб Катя, а?! – заплакала Женя, и тогда нянечка отпустила Серёжкино ухо и тоже заплакала.

– Сраму то, сраму, Господи прости! – запричитала она, и тут до него полностью дошло, что он наделал.

– А-а! – взвыл он и стал кататься в крапиве, тычась в неё лицом. Он обворовал их всех – и пожилого солдата, и молодого, и Женю... всех, всех... И он катался в крапиве и кричал, но позор был так велик, что не только не уменьшался, но даже нарастал...

НОЧНОЙ КОСТЁР

На следующий день с утра он отправился за соломой. Сделал две ездки, а к ночи залез на печь, но не лёг рядом с Наташей, а забился в уголок: что-то в нём изменилось после прихода налогового инспектора. Начал было засыпать и сквозь сон услышал какую-то возню и крики. Он полежал, думая, что это ему пригрезилось, тем более, что в голове стали возникать голоса из его страшного сна – наверно, так повлияли на него вчерашний самогон и дневная усталость. Но нет, что-то было не то! Он вскинулся, встряхнул головой и уже явственно услышал страшный захлебывающийся визг. Маши рядом не было, а Наташа спала так, что её ничем невозможно было разбудить, пока не проснётся сама...

В котельной было пусто, дверь наружу открыта. Серёжка схватил с гвоздя первую попавшуюся фуфайку, всунул ноги в Наташины валенки и выскочил на улицу.

На базу горел костёр. Оттуда доносились резкие голоса. Он разобрал Машин и ветеринара, всегда подвыпившего мужика, зачастившего в последнее время на свинарник.

– Заткнись, самогонщица! Не то я сдам тебя куда надо! – кричал он на Машу.

– Ах ты, пьянь проклятая! Ах ты, ворюга! – отвечала Маша.

Серёжка только теперь сообразил, что зарезали кабана Ваську. Ему стало обидно и страшно: почему ночью и вообще – зачем? Ведь говорили – на посевную. Подходя к базу, он увидел,

что Маша вцепилась в ветеринара, и как раз в то мгновение, когда парень остановился у ограды, неотрывно глядя на яркий и страшный в ночи костёр, хозяйка свинарника с каким-то рычанием так толкнула тщедушного мужичонку, что тот стукнулся головой о стенку сарая и сполз на землю, в снег.

И тогда человек, оскребавший кабана, сделал шаг в сторону Маши (Серёжка увидел, что это кладовщик), но тут навстречу ему двинулся дед с поднятой кочергой:

– Ну-ну! Ты, Макар, не шуткуй! Брось нож, брось, жажу!..

Дед замахнулся кочергой, и кладовщик выронил нож на снег, бормоча:

– Да ты, дид, чи сдурел?! Я ж так...

В Серёжкину память врезалась картина: упавший у стены ветеринар; дед, застывший с кочергой, поднятой вверх; кладовщик, выронивший нож, и Маша со вскинутыми к голове руками. Потрескивала, лопаясь, кожа, пахло горелой соломой и палёной шерстью. Серёжка очнулся, когда к нему подошёл дед.

– Бежи до конюха, понял? До конюха, швыдче!

– До дядьки Семёна?

– До его... Да Расскажи, шо тут роблють...

Конюх жил недалеко от правления. Пацан, задыхаясь от морозного воздуха, подбежал к калитке и просунул руку, что бы открыть её с внутренней стороны, но щеколда не поддавалась, тогда он разулся и, держа валенки в руках, перелез и постучал в ближайшее окно. Звякнул крючок, и перед Серёжкой оказался дядька Семён в подштанниках, но с сигаркой, точно он и спал с нею.

– Ну кто там ещё? – хрипло спросил он. Потом втащил парня в горницу: – Обуйся, обуйся, обуйся... Ну что там такое? Чего примчался?!

- Да Ваську зарезали... Кабана Ваську!
- Кто, мать его в душу? Постой, я зараз...

Он быстро собрался и вышел, но вдруг круто повернулся и возвратился в хату, а когда показался опять, в руке у него было ружьё и сжимал он его так, словно это было не охотничье, а настоящее, боевое!

Костёр, горевший посреди база, не был виден отсюда, но вдалеке светилось зарево, а по мере приближения становились видны искры. Дядька Семён шагал быстро, Серёжка еле успевал за ним. Ему вспоминалось всё, что было связано с кабаном Васькой. От жалости на глаза наворачивались слезы.

«Пошли до Васьки», – говорили Галя или Лёнька, а то и он сам, Серёжка. Они почёсывали кабанау шею и бок, а он довольно похрюкивал, опускался на руку, пригибая её к полу, – Васька был уже страшно тяжёлый... «Вот зарежемо Ваську, тоди...» – иногда мечтала Маша. Они высчитывали дни до начала посевной. И тут же разговор сбивался на трудодни. Прикидывали, если на трудодень выдадут хотя бы по полкило зерна, то у них получится... было бы куда складывать! Серёжка тоже зарабатывал в день по семьдесят пять сотых трудодня...

Теперь он понимал, что произошло что-то ужасное – для Маши и Наташи, для деда Бованенко и его внуков и, конечно, для него, Серёжки... Им всем наплевали в душу. Бог бы с ним, с мясом или даже салом, обиднее всего было терять надежду, а так же то, что сделано всё было по-разбойничьи, ночью.

Едва поспевая за конюхом, парень надеялся, что этот суровый человек, фронтовик, разберётся и зло будет наказано. А дядька Семён, подходя к базу, ухитрился своей единственной рукой зарядить ружьё и вскинуть его наперевес. Пахло горелой соломой и палёной шерстью, а также прижаренным салом.

Увидев конюха да ещё и с ружьём наизготовку, все, кто был на базу, на миг застыли. Потом от догоравшего костра отделилась фигура кладовщика и попятилась к ветеринару, который как-то странно топтался на том месте, где его сбила Маша. Конюх, мельком оглядев мужиков и узнав всех, опустил ружьё дулом вниз и подошел к Маше:

– Ты, Мария, ступай в хату, бо простудишься, а я тут разберусь...

Маша, всхлипывая и пошатываясь, прошла мимо Серёжки, а он все стоял у изгороди и не мог наладить дыхание.

– Слухай, Семён, ты тут не дюже размахивайся, – забормотал ветеринар. – Нам приказали, так что...

Но конюх его не дослушал, он заглянул в лицо кладовщику и сказал:

– Добре! Це добре, Макар, шо ты тут! – и повернулся к деду: – Пидгоняй сани, отвезём на склад и оприходуемо, а там нехай банкують!..

Видя, что конюх оставил ружьё у стены, к нему неуверенно стал приближаться ветеринар, а за ним, тоже как-то боком, но опять же, словно по забывчивости, с ножом в руке, кладовщик. И тут глупый пацан, не раздумывая, подбежал к костру, схватил тяжелую кочергу и размахнулся ею, чтобы ударить кладовщика по руке и выбить нож, но здоровый откормленный мужик дёрнул за другой конец кочерги, и пацан упал в снег.

– Ах, вам приказали?! Так я вам зараз покажу приказ! – Конюх отпрыгнул к стене, схватил ружьё, но подоспевший дед успел так рвануть его к себе, что они оба опрокинулись, а из выпавшей двустволки в небо вырвалось пламя.

Подходя к дверям сторожки, Сергей увидел, что на отъезжающих санях сидят двое – дед и конюх. Кладовщик и ветеринар шли сзади, но не вместе, а на некотором расстоянии друг от друга.



Пока деда не было, Серёжка подтапливал котел, стараясь не оглядываться, потому что Маша плакала и ругалась так, как не всякий мужик сумеет. Она разбудила сестру, накричала на неё, и теперь Наташа сидела на соломе и плакала, обхватив руками колени, в одной холщовой рубашке.

Дед возвратился, когда начало рассветать.

– Кровь принесли? – спросил он почему-то у Серёжки, хотя сестры сидели тут же, обнявшись и плача.

– Какую кровь? Вы что?! – удивился пацан, не понимая, о чем речь.

Дед угрюмо усмехнулся и вышел из сторожки. Он возвратился с ведёрком. Серёжка увидел в нём что-то чёрное и густое и догадался, что это Васькина кровь. У парня закружилась голова.

– Ну-ну, ничего, ничего, – хмуро пробормотал дед. – Мария, чуешь, треба жарить кровь...

Немного спустя сестры и дед пили самогон и закусывали поджаренной кровью. Серёжка не пил и не ел, его почему-то трясло.

– Ну и чога вони там? – спросила Маша.

– Да шо, оприходовали та и усё. – Дед вытер бороду и усы. – Горе тай годи! Тилько приихалы и началось! Чума, кажуть, у соседнему колгоспи... Ветеринар каже – чума... А Семён той каже, шо вони и есть чума, кладовщик, ветеринар да ще кто там...

– Бездельники проклятые! И закона на них немає! – хрипло вскричала Маша и тяжело задышала, сдерживая рыдания...

– Ладно, Наташка, пишлы спать, бо скоро вставать... А як я его тряхнула, а, диду?! – вдруг засмеялась она.

– И что же теперь будет? А говорили – на посевную? – спрашивал у деда Серёжка, когда сёстры ушли.

– Да что, забьют две три свиноматки... Хиба ж начальство не знае, як ции дела делаются?!

– Ну а вы? А дядька Семён?! – с обидой возразил парень.

– Э-э, глупый ты, хлопец! Я хто? Старик... Бывший кулак, чи там дурак. Семён – тот партийный, да вин неграмотный... Ще, скажи спасибо, шо оприходували, а то бы в два счёта списали на чуму чи на волка... А так може трактористам выдадут мяса. Ну ладно, треба до дому...



ПОБЕГ

А потом умерла от возвратного тифа Женя, и Серёжка решил бежать из детдома.

Как ни старался он собираться тихонько, чтобы не разбудить соседей, Гришка проснулся и стал за ним наблюдать. Он видел, как Серёжка укладывает в наволочку два кочана кукурузы, старую книжку без начала и конца «Тайна профессора Бураго», коробку спичек и тряпицу с солью. Это было немалое состояние, если даже учесть, что наволочка – казённая. В конце концов, надо же было хоть что-нибудь взять на память!..

– Уходишь? – спокойно спросил Гришка.

– Ага, – также спокойно ответил Серёжка и двинулся к выходу из барака. Но увалень Гришка мгновенно ухватил его за штанину и глазами приказал:

– Сядь!

Серёжка сел, а его старший друг снял наволочку со своей подушки и собрал в неё вещички: две книги Аркадия Гайдара, «поджиг» и несколько дробинок к нему, а также небольшой пакет с неизвестными Сергею бумагами. Много времени спустя он догадается, что Гришка сумел завладеть своими «ксивами» – документами: свидетельством о рождении и похвальной грамотой за отличное окончание седьмого класса.

– Пацаны, и я с вами, а? – Сосед слева тоже стал собираться. Это был крупноголовый крепыш, по прозвищу Карабала – чёрный мальчик, у него был очень тёмный цвет лица, широченный нос и широкие скулы.

– Подайте беспризорному калеке! – заскулил он и закатил глаза, обнажив бельмы.

– Пускай идёт, а? – согласился и спросил Серёжка.

– Ладно, только быстренько, а то за нами все потащатся...

Солнце еще не взошло, когда они миновали детдомовскую территорию. За селом почувствовали себя свободными. Взбивая пыль, шли некоторое время за отарой овец. Карабала, проходя мимо пастуха и женщины в белом платочке, заковылял, подворачивая ступни, кривя туловище и подвывая. Женщина сочувственно покачала головой и положила ему на ладонь половину кукурузной лепёшки.

Перейдя Чу, они развели костёр и испекли в золе Серёжкины кукурузные початки.

– На станцию пробираемся по одному, – командовал Гришка, выпячивая свои толстые губы. Лицо у него было непривычно серьёзное, отстранённое.

Они разошлись в разные стороны. Серёжка пошёл по нижней дороге. Гришка, самый солидный на вид, – у него, в отличие от младших товарищей, которые шли босиком, были сандалии, – пошёл кратчайшим путем. Карабала, прекрасно знавший город, – он не раз уже убегал из детдома, – шмыгнул в ближайший переулок.

Серёжка забрел на базар, и там его отыскал темнолицый. За пазухой у него лежала лепёшка – успел стянуть! Они пробирались к станции между вагонами, стоявшими в тупике, здесь жили железнодорожные рабочие, в основном чеченцы и карачаевцы, которых год назад выслали сюда с Кавказа. По обеим сторонам колеи валялись старые разбитые ящики, доски, кучки мелкого угля. Пацаны укрылись за сломанным контейнером и просматривали перрон, уминая лепешку.

– Смотри, Гришка, Гришка! – вдруг закричал Карабала. Серёжка в последний раз увидел старшего друга в тот момент, когда тот вскочил на подножку «пятьсот весёлого» и тут же стал подниматься на крышу. Мальчишки на миг растерялись, а когда спохватились, было поздно: поезд набирал ход. Больше они ни когда не видели Гришку Пантюхина.

В контейнере была солома, лежала чья-то промасленная фуфайка, но никто их не потревожил до темноты. Ночью они свободно залезли в один из вагонов товарняка и стали ждать. Здесь было полно железных ящиков – когда-то в таких возили оружие. Война кончилась, но грузы ещё путешествовали. Ящики за день так раскалились, что и сейчас ещё от них тянуло жаром. Пахло ржавчиной и смазочным маслом.

Они и позасыпали, не дождавшись, пока поезд тронется. Перед утром Серёжка захотел «на двор» и по привычке протянул руку, чтобы разбудить соседа.

– Едем, едем! – радостно закричал Карабала, чуть продрал глаза.

– А куда едем-то?

– Да не всё равно, что ли?! На месте узнаем...

Поезд остановился в Джамбуле.

– Пошли в город, я тут всё знаю! – уверенно говорил Карабала. – Я здесь сидел в детприемнике и был в детдоме.

– В детдоме?!

– Ну да, тут на Коммунистической, возле стадиона и Мучного базара. Боишься поймают? Сбежим!

Двое суток они провели «на воле». Крутились на «Мучном» базаре, а ночевали в хибарке возле кладбища. Но на третью ночь их взяли во время облавы на «Чёрную кошку». Документов у ребят не было. Добродушный курносый милиционер похлопал Карабалу по плечу:

– Я тебя помню, приятель!

– Я вас тоже... Вы мне давали двадцать четыре часа, я ж вас не обманул, отпустите! Ну, пожалуйста, отпустите...

Может, и отпустил бы их курносый, но тут вошёл капитан казах и строго сказал:

– Ну что, «котят» изловил, Максимов?

– Да нет, товарищ капитан, это просто беспризорники, чёрного я знаю, мы ему давали двадцать четыре часа...

– Значит, он уже попадался?! – совершенно серьезно спросил казах.

– Да не «котята» мы, ей богу! Серёжка, божись!

– Нет, не «котята», слово всех вождей! – истово поклялся Серёжка.

Но их не отпустили, отвели в детприёмник, а через неделю отправили в спецремесленное училище. Они и там пробыли недолго. Создавались такие спецремеслухи по приказу самого Сталина для беспризорников...

Пацаны весело примеряли бушлатики и ботиночки, форменные костюмы. А 450 граммов хлеба! А сахарок к чаю! Всё это было неправдоподобно, да никто и не верил, что такая жизнь может продлиться долго.

Беда была в том, что кому-то пришлось в голову направлять в такие училища всех, кто так или иначе оказался «на воле». Недавние «домушники», карманники да и «стопари», отсидевшие сроки в колонии, быстренько прибрали к рукам не только училище, но всё Бурно-Октябрьское. Местный базар сам собой прекратил существование, потому что не было спасу от налётников. Директор и мастера-воспитатели были бессильны.

– Страна ничего для вас не жалеет, – говорил на собрании, которое состоялось в конце первого месяца директор, невысокий, шуплый казах. – Я понимаю, что вам пришлось

нелегко – война, потеря родителей... – Он тщательно выговаривал русские слова, и на его широкоскулом лице было выражение готовности сделать для своих подопечных всё.

– Пр-равильно! Вер-рно!

– Да ты «по фене», «по фене», гражданин начальник...

– Га-га-га! – гремел зал.

Заводилами были Сашка Уркаган и Федька Жлоб. Карабала быстро к ним приспособился, а вот Серёжка никак не мог привыкнуть к тому, что все пацаны должны подчиняться этим двум уркам.

Как он тасовал колоду, как сдавал карты, черноглазый Сашка, носивший косую чёлку! Играли на деньги, на горбушки хлеба. Но у таких, как Серёжка, недавних детдомовцев, ещё не научившихся воровать, денег не было, им приходилось превращать в монету простыни и одеяла, а то даже бушлаты и ботинки. Проигрывались также порции «бациллы» – масла, сахарки...

Крутолобый и безбровый Жлоб был похож на бычка, от него даже пахло животным.

– Ну что, побури́м, шкет? – предложил он как то Серёжке. – Давай, давай научу, спасибо скажешь...

– Да я не умею... И денег нету...

– А это тебе не деньги! – куцая лапа Жлоба легла на Серёжкину гордость – кожаную кепку шестиклинку, память о «Мучном» базаре.

– Отдай, отдай! – Серёжка протянул руку и получил по лбу. Он рванулся на Жлоба, но тот поддал ему в лицо своим круглым кумполом (головой) так, что пацан отлетел к стене. Из носа потекла кровь.

– Что, Жлоб, кепку торгуешь? – возле них оказался Сашка Уркаган. – Дай-ка примерю! Ну-ну, сволочь, тебе

не личит! Эй, пацан, забирай своё богатство. – Он отдал кепку Серёжке, а Жлобу отвалил подзатыльник.

Только потом пацаны поняли, что это игра: один обижает, а другой (благородный) защищает. Так они с Карабалой попались на удочку. Сашка сам взялся обучать их игре в «буру».

– Будем считать, что играем по правде: на кону мандра с ба циллой.

У Серёжки дело не клеилось, зато Карабала ухватил эту игру сразу. И тут на помощь Сашке пришел Жлоб. Он устроился за спиной Карабалы и стал «светить»: в зависимости от мастей и козырей он то почёсывал нос, то притрагивался к уху или глазу. Кончилось тем, что Карабала проиграл месячную порцию хлеба с маслом.

Сашка, причесывая свою косую челочку, усмехался:

– Ништяк, ништяк, иначе не научишься... Ну, так и быть: половину скощаю, а остальное будешь отдавать Жлобу...

Их учили обращаться с инструментами – напильником, рашпилем, молотком, зажимать в тиски заготовку, а когда дошло до работы на станках, с лёгкой руки блатных почти все пацаны взялись вытачивать себе финки, делать из трубчатой стали «поджигала».

Мастера менялись чуть ли не каждую неделю. Первый директор только и знал, что выступать на собраниях с душе-спасительными беседами.

В училище начался самый настоящий грабёж. Однажды ночью Серёжка с Карабалой ушли на станцию, там сели на товарняк и через несколько часов были в Джамбуле.

НА КОНЕ ВЕРХОМ

Снег сошёл, от земли тянуло испарениями, появилась ранняя травка. От ближайшей скирды к весне остался слой соломы метра в полтора толщиной, да остатки растолкли ребятишки. Сергей с завистью смотрел, как они кувыркаются, борются, но участвовать в их играх ему было несподручно – переросток. А вот со своими ровесниками, которые часто приходили на выгон играть в лапту, он ещё толком не познакомился. Они так ловко били палкой по мячу, так метко попадали в полевого игрока, что он боялся осрамиться.

Особенно выделялся среди них здоровый парень с тёмнокудрявой головой и выпуклой грудью Митька Абыхвост. Когда начинали конаться, каждый старался попасть в одну партию с Митькой: это был верный выигрыш.

Солома пахла сыростью, гнилью, сидеть на ней было ещё рановато, но поначалу Сергею приходилось играть самому с собой в ножички. Втайне он надеялся, что однажды Митька заметит его и не выдержит, подойдёт и удивится, как здорово бывший колонист делает такие замысловатые коленца, как «пальчики», «причёска», «носик» и прочее. И все это за один раз – целая партия! На третий день, как только новичок начал свою игру, его облепляли местные ребятишки, забывшие ради новой игры свои «альчики», «лянгги», «пристенки».

Сергей узнал от Лёньки, что Митька в прошлом году бросил школу, восьмой класс, и пошёл работать в колхоз

по наряду. Недавний беспризорник остро чувствовал отношение людей к себе и был уверен, что Митька заметил его, но притворяется. И он оказался прав.

Как-то Митька появился на выгоне, ведя в поводу коня объездчика, низкорослого горячего жеребчика по кличке Звонок. Возле скирды он легко вскочил на коня, промчался метров триста, круто повернул назад и, спрыгнув на землю, внезапно протянул повод Сергею.

– Ну-ка поддержи!

Парень не успел сообразить – в руке был повод, за который резко подергивал вороной жеребчик, а Митька спокойно шёл к играющим в лапту. Звонок, грызя мундштук, ронял пену, прядал ушами и угрожающе пофыркивал, кося на неопытного парня дикими глазами и пытаясь вырваться из рук.

Сергей, еле удерживая коня, думал, что всё это Митька подстроил нарочно, чтобы местные ребяташки и подростки не перекинулись на сторону новичка. Игроки в лапту, хотя и видели, что Митька приехал верхом без седла, а потом передал коня Серёжке, сперва не обратили на это особого внимания: лошади для них были не в новинку, но за те две-три минуты, пока новичок пытался справиться с конём, то один, то другой стали поглядывать в его сторону, и вдруг он услышал чей то звонкий насмешливый голос.

– Да чего ты с ним возишься? Садись верхом!

И он легко, в каком то мгновенном ослеплении, ухватился за холку Звонка и взлетел ему на спину. Вообще, он был ловок: легко делал сальто, ходил на руках, залезал в форточки. Но тут требовалось особое умение, навык, и теперь, ухватившись за холку, он выпустил из рук повод, попытался достать его, потянулся, лежа на жеребчике, но тот резко рванулся вперёд-вбок, и Сергей почувствовал, что ему

не удержаться. Конь летел через выгон, а неопытный наездник, сползая влево, изо всех сил пытался выровняться, упираясь в скользкое, лоснящееся тело коня всей правой частью своего тела. Удержаться он не смог, но, оказавшись на земле, боли не чувствовал. Услышал крики мальчишек и метрах в пяти от себя увидел Звонка, который спокойно покачивал головой и пофыркивал, кося в сторону упавшего.

– Ушибся? – добродушно спросил подошедший Митька.

– Ничего... – боль в боку была чувствительной, но не жаловаться же.

– Научись... Поначалу все падают... – Митька мог себе позволить доброжелательность: он добился того, чего хотел, – доказал новичку и тем, кто готов был переметнуться на его сторону, что игра в ножички – это чепуха, а вот ты попробуй на коне верхом – настоящее мужское дело.

И теперь, когда уже Митька Абыхвост летел через выгон на вытянутом в струнку коне, Серёжке вспомнилось первое, давнишнее, как бы из другой жизни, падение с коня...

Если бы его попросили рассказать о родном селе, он мало что вспомнил бы предметно и точно. Всё смешалось во времени с запахами и снами... и ещё с чем-то, чему на свете и названия не существует... Река Свапа и еще одна – Сейм... и всё вокруг словно бы жившее в нём ещё до его рождения – ракиты, луг, поросший ромашками и одуванчиками, осотом и гусятником, самодельные трамплины и лягушата, высоко подпрыгивающие, чтобы бултыхнуться в воду, стадо коров, пригоняемое в обед всегда в одно и то же место, называемое «тырлом», деревенские мальчишки. На реке множество отелей, песчаных и глиняных, а вода, по памяти, всегда тёплая и ласковая... На нижней улице широко раскинулась старинная площадь, церковь двухвековой давности; в иную весну эту

нижнюю улицу затопляло половодьем. А наверху, куда нужно было идти через сады, невдалеке от деревенского кладбища, посреди пустыря и находилось то, что называлось «детдом».

Во дворе были различные постройки: двухэтажное здание из кирпича – общежитие девчонок и воспитателей. Ребята жили тоже в кирпичном, но одноэтажном доме. Было две бани – мужская и женская, были деревья, которым он тогда не знал названия, кроме яблонь и груш, ну и, конечно, трава, лопухи, какой-то чертополох – там они прятались, играя в войну. Нет, если хорошо вспомнить, то были и ещё здания: длинная столовая и в ней «красный уголок», а также бревенчатый сарай. С этим-то сараем и двором, нет, со всем, что тут было, связано и его первое падение с коня. Во дворе жили большие и добрые собаки – Мурзик и Тапка. Мурзик – грязно-серый пёс, добродушно помахивавший хвостом и заглядывающий мальчишкам в глаза. Серёжке тогда казалось, что в том и есть предназначение Мурзика, но Тапка! Возле сарая была конура, в ней жила эта жёлтая собака, и у нее всегда были щенята. Детдомовцы брали их в руки, а Тапка жалобно визжала и смотрела на всех скорбными просящими глазами. А по ночам скулила и рычала, охраняя своих малышей.

По двору гуляли гуси и утки. На чердаке жили голуби, которых каждый день вздымали в небо мальчишки голубятники. А с противоположной стороны сарая, там, где начинались огороды, были клетки с кроликами. Собачий лай и визг, воркованье и свист голубиных крыльев, запах из кроличьих клеток...

За сараем росли лопухи, крапива, здесь были зелёные заросли картофельной ботвы, жёлтые подсолнухи. Здесь же размещалась большая латка конопли. Огороды тянулись до оврага, а за оврагом, на противоположном высоком его берегу, был орешник.

Сергей теперь не мог бы сказать, кто завёл в детском доме тот странный обычай – пропускать через хомут мальчишку, который «наловил рыбы» – уписался... «Рыбака» отводили в сарай и, пока он пролезал через хомут, дежурные могли бить его полотенцами или снятыми с себя и скрученными рубашками. Наказывали для вида, но позор был страшный. Обычай этот прижился до того, как детдом стал интернациональным. Конечно, знали об этом и воспитатели, но делали вид, что не знают, чтобы не вмешиваться, а сами ребята – русские, немцы, австрийцы, испанцы, поляки – сразу же приняли эту, хотя и необычную, но справедливую игру. Никто и никогда не жаловался.

И на Серёжкину долю выпало одно такое утро. После завтрака малышей должны были вести на речку, но разве он, «рыбак», мог показаться на глаза своим дружкам?.. А как он был счастлив вчера! Проснулся перед побудкой и побежал за сарай. А когда, съездившись от утренней прохлады, возвращался в общежитие, увидел возле столовой Марусю и Августо и прижался к стволу старой груши, чтобы хоть немного спрятаться и понаблюдать за ними. Они смеялись, запрокидывали головы, они объяснялись жестами и редкими словами, которых он не слышал, но как будто угадывал, потому что Маруся отмахивалась от Августо его же пилоткой «испанкой», но и отмахивалась как-то так, что Серёжка ревновал её к Августо. Хотелось быть не собою, маленьким и ничего не значащим мальчиком, а героическим испанским парнем – он воевал и даже был ранен у себя на родине! И его недаром так любит Маруся. Но и самой Марусей тоже хотелось быть, потому что её так любит Августо. Да и как не любить её, парашютистку, пионервожатую, самую весёлую и красивую девушку на свете?! У нее светлые, коротко

подрезанные волосы, она смуглая, почти как сам Августо, потому что всегда на ветру, на свежем воздухе, на солнце. Серёжка ревновал их друг к другу и был счастлив за них. У него вертелось на языке длинное и мужественное слово «Осоавиахим».

Он пошёл в общежитие, разбудил Дарио, своего лучшего друга и младшего брата Августо. К ним привязался Яцек Гавроньский, и все они побежали в столовую.

Братья испанцы говорили между собой только по-русски, а с Марусей – только по-испански, и это было так весело! Звонче всех хохотала Маруся. А после завтрака старшие повели всех остальных на Свапу. Было солнце, запахи лягушачьей икры и мокрой травы. Был трамплин и разноцветные брызги.

Августо нырял, а Маруся и малыши прыгали «солдатыками». И здесь, на реке, старшие как то странно смотрели друг на друга... А потом все пошли в село и там, на базарной площади, ели мороженое и пили морс. Вот этот-то проклятый морс и сделал свое дело! Серёжа не смел даже подумать, что о его позоре могут узнать Маруся и Августо...

Он сидел после наказания один, забившись в угол сарая. Старый детдомовский коняга по имени Грицько временами переставал жевать сено и отфыркиваться и косил взглядом на непонятого плачущего человечка. А сам этот человечек, в белой майке и черных трусиках, размазывал слезы обиды и в который раз снова и снова мысленно прогонял себя через хомут...

В сарае пахло сеном и мышами, а также навозом и жвачкой старого Грицька, но Серёжке казалось, что сильнее всего и противнее всего пахнет хомутом. Он в ярости вскочил и стал втаптывать этот хомут в сено, потом навалил на него сена почти до потолка, и за этим занятием застал его ко-

ных дядя Миша, который вдруг, не говоря ни слова, подхватил его на руки, понёс к яслям, поставил, потом завёл в сарай вороного Коршуна, в отличие от Грицька поджарого и вздергивающего головой, и... посадил на него Серёжку!

– Держись за гриву, да смотри не стукнись о притолоку, – дядя Миша отдавал ему в руки повод.

И вот он, Серёжка, верхом на коне, да не на дряхлом Грицьке, а на вороном, боевом Коршуне, которого дядя Миша никогда никому не доверяет, потому что обучает его для службы в армии... Он, Серёжка, верхом на коне, как Чапаев, как Будённый на картинках в «красном уголке». Пригнувшись, он выехал из сарая, оглядел двор, чтобы убедиться, видят ли его триумф дружки-детдомовцы, в том числе и дежурные, свидетели его позора... Они, конечно, сейчас все ему завидуют! Он покосился на своё общежитие, на столовую, возле которой вчера стояли Маруся и Августо, и звонким срывающимся голосом крикнул: «Н-но, Коршун!» При этом он неумело поелозил пятками по лоснящимся бокам коня, и тот, умница, сделал вид, что готов пуститься вскачь, но потом... когда они отъедут от сарая. Он едва-едва затрусил по двору, а Серёжка стал ударяться о его хребет и понял, что сползает... Он сообразил потянуть за повод и направить коня за сарай, чтобы не стать причиной ещё одного позора. Коршун сразу повиновался маленькому наезднику, но не в его силах было предотвратить сползание Серёжки: конь сделал всё, что мог, – освободился от седока за сараем и тут же встал перед ним, опустив голову. Серёжка взял за повод смиренного коня и гордо повёл его к сараю, даже не оглянувшись на примятые падением крапиву и лопухи!

– Накатался? – дядя Миша подмигнул и улыбнулся. – Ну и добре!

Всё это вспомнилось, пока Митька летел на Звонке через выгон. Он научится ездить верхом, он докажет Митьке!

Никогда прежде он не замечал, что трава бывает такого нежно зелёного цвета, а молодая зелень так хрупко пахнет. Копни землю носком ботинка – и в сыром слое откроется богатая и полная жизнь насекомых и растений, корней травы и цветков.

И с ранней весной у него тоже были связаны особые воспоминания. Он не мог бы сказать, сколько ему лет. Наверно, совсем мало, до войны ещё далеко. Живёт он неосознанно, ощущениями. И первое, что он помнит из этой, неизвестно какой по счёту жизни, – он просыпается, вернее, он только начинает просыпаться и сквозь ресницы видит солнечный свет и чего-то ждет... Это «что-то» – самое тёплое и приятное, самое-самое, то, чему ещё нет названия и объяснения... Молодое и красивое женское лицо. Серые добрые глаза, короткие каштановые волосы, сползающие на правый бок. Женщина в белом халате, и потому ещё мягче, светлее, теплее её лицо. Он тянет к ней руки, но она шутливо грозит ему пальцем.

Он долго не мог понять, почему его не берут на руки, и однажды заплакал, и она взяла его, но тогда расплакались те, другие, и стали тянуть к ней ручки из своих кроватей. У неё стало растерянное лицо, и он пожалел, что так провинился перед нею. Конечно, ничего такого он не мог бы оформить словами, но это было, было...

Должно быть, он считал ее своей мамой, но потом как-то узнал, что это детдомовская воспитательница. Как было обидно! Хотелось убежать неизвестно куда или даже перестать жить...

Нет, он не разлюбил её – стал любить по-другому. Он подрастал и уже называл её Татьяной Петровной, подружился с её дочкой Женькой.

Но он ревновал её к старшим ребятам, с которыми она была иногда близка в их занятиях парашютным спортом или игрой в волейбол... В сорок первом, когда их везли на подводах по курской степи, когда их разбомбили и расстреляли на бреющем полёте немцы, в тот яркий и страшный полдень он как-то и не заметил начала бомбёжки... Он прозевал самое страшное, потому что она прижимала его и ещё двух воспитанников к себе, прикрывала их своим телом. Как он был глуп! Ему тогда хотелось, чтобы эти проклятые немцы нападали на них снова и снова: ему хотелось умереть в её объятиях...

Но был и другой день в его жизни...

В сорок четвёртом его наконец отыскала блуждавшая где-то с сорок первого похоронка на брата. Детский рассудок не проваривал: как это может быть, вот она свежая похоронка, а брата нет уже три года... И это изумление и неумение переварить, состыковать гибель брата и эту похоронку, прошедшую спустя три года, привели его в странное неестественное состояние: он почти не горевал, он даже по своему радовался поводу... отправиться к ней... Дождавшись ночи, он смело шагал по страшным ночным улицам дунганского посёлка почти на самый конец, где было женское общежитие. Было начало декабря, снег выпал и сошёл, все вокруг стояло мертвенно серое и унылое: урючные и яблоневые сады, богатые летом огороды, арыки, точно бы наполненные дёгтем, беззвёздное небо.

Он постучал, чтобы сразу всё выяснить: дело в том, что она жила с дочкой, но у них же за перегородкой иногда ночевала ещё одна воспитательница, постарше, построже, её он стеснялся. Если она окажется у них в комнате, то всё пропало. А вот если они будут одни, он покажет ей похоронку, и она его приласкает, напоит чаем и оставит ночевать.

Женьку он не боялся и не ревновал, она была таким же мальчишкой, как и он сам, – странность, которую он долго не мог понять... И он застал Татьяну Петровну одну – Женька ушла в барак для младших. Она помогала матери.

Воспитательница накинула поверх рубашки халат, села на постель и усадила его рядом с собою. Она что-то шептала, прижимая его к своему теплому боку, и он уснул, пригревшись.

Правда, потом ему всё же было стыдно за то, что он не переживал смерть брата, но – эта бумажка, блуждавшая где то три года! Он всё списал на нее... Да он и не знал брата, было что-то смутное, не оформленное ни в слова, ни в образы, жило как бы отдельно от понятия «брат», но как будто и рядом с этим понятием...

...Как то в апреле он проснулся оттого, что ему нечем стало дышать на печи: Маша крепко прижимала его к себе, и тяжело, прерывисто дышала. Он увидел ее широкое, как поле, тело, задранную рубашку... рванулся с печи и выскокчил к деду в котельную, тяжело дыша.

– Ты чего?! Чи страшное приснилось?

– Ага...

Он ел печёную свеклу, не чувствуя вкуса и думая только об одном – спала ли Маша. Если нет, то как ему быть дальше? На печь он не полез, вздремнул, сидя возле деда на соломе.

Маша, как всегда, встала рано и держалась спокойно, ничем не показывая, что произошло что-то особенное. Но вечером, перед сном, когда он возвратился с поля, куда отвозил посевное зерно, он увидел в сторожке топчан.

– Вот... Будешь спать, – сказала Маша, – уже тепло, не замёрзнешь.

По её взгляду он всё понял, ему было стыдно и горько... Он пожалел, что так себя вел, и вспомнил старших детдомовцев и колонистов... Да что! Тот же Митька Абыхвост посмеялся бы над ним...



НИКИШКА

Сергей открыл воротца загона, и овцы стали выкатываться на волю. Впереди, высоко держа голову, поспешал белый козёл с красивыми длинными рогами, один из которых, правый, был подпилен или подрезан, а бока и ноги животного сплошь в репьях и колючках. «Смотри, он бьётся!» – предупреждал Серёжку Лёнька, но сейчас новичок забыл об этом, и старый козёл ему напомнил: проходя мимо, так мотнул в его сторону головой, что он оказался на земле.

– Ах ты, чертяка! Ну погоди, я тебе покажу! – парень вскочил на ноги, но его обидчик, как ни в чём не бывало, уже шагал во главе отары, и овцы катились за ним.

Солнце поднялось над горизонтом. Сергей снял рубашку и шагал вслед за отарой по выгону, улыбаясь голубому небу, траве, цветам. Деревня скрылась из виду. Вершины пирамидальных тополей стали похожи на низкорослый кустарник. Вокруг, до самого Тянь-Шаня, лежала степь – свежая, пёстрая, изредка пересекаемая оврагами и балками. Колокольчики, одуванчики, ядовито жёлтая сурепка, радужно расцветшие колючки – всё это цвело и пахло, и звенело насекомыми, и не верилось, что пройдёт всего две три недели, и вся молодая и цветущая жизнь превратится в курай да колючки, а вокруг будет гулять только запах степного полынка.

Сергей жевал травинки, бездумно срывал молодые, с нежными лепестками кашки и брёл за отарой. Он ещё не знал, что с овцами так нельзя, им только дай волю – и они пойдут

и пойдут на ветер, и за день могут дойти до подножия гор. Но это хорошо знал старый вожак, Никишка. Может быть, он понял, что должен помочь неопытному чабану, – обогнал стадо, пытаясь его остановить, но овцы, вскрикивая «н-н-е», постарались обойти, обтечь своего вожака. Сергей заметил его старания и простил ему давешнее нападение. А Никишка, видя, что стадо ему не подчиняется, боднул одну другую овцу в их курчавые душные бока и, распалившись, стал вовсю орудовать рогами, пока наконец отара не остановилась.

Несмотря на восточный ветер, который всё тянул и тянул на одной ноте, было жарко; и когда овцы остановились, чабан повесил на кустик рубашку, спрятал голову в образовавшуюся тень и скоро уснул. Солнце дошло до того места в небе, когда пора было гнать отару на тырло, к реке. Так делали другие чабаны, а новичок спал. Зато старый вожак хорошо знал свое дело. Работая рогами, он принялся заворачивать и будоражить стадо, овцы заблеяли, и Серёжка проснулся. Знойный воздух звенел, запахи усилились. Хитрый козёл, видно, понял, что чабан – новичок, и повёл отару своим путём – туда, где на краю деревни был колхозный сад, а за ним до самого луга тянулись огороды. Вот отара миновала дорогу, где надо было заворачивать к реке, перекатились через арык, и козёл первым приступил к капустным грядкам.

– Эй, раззява! Куды глядишь-то, а? – услышал Серёжка и схватился за голову, а пожилая баба с подоткнутым подолом, проводившая арычки от большого арыка, подбежала к козлу и огрела его тяткой. Отара двинулась дальше к реке. Воздух был полон криками и звуками шлепающихся в воду тел, здесь купались пастушата и подпаски, а также мальчишки из двух сёл, лежавших по обе стороны реки. Трава на берегу была выбита – тут тырловались коровы и телята.

Пахло, как обычно на тырле, разогретыми коровьими лепёшками, мокрой травой и ещё чем-то необъяснимым, но приятным, – смесью запахов травы, мокрого песка, болотца.

Серёжка подогнал овец к лозняку и пошел купаться.

Недалеко от берега верхом на коне сидел Лёнька и чистил его скребницей. Мокрая гладкая спина лошади и её круп блестели на солнце, а куривший на берегу старик пастух, хозяин лошади, покрикивал на пастушат, которые норовили ухватиться за хвост коня.

– Серёжка, там возле лозы сумка с едой! – крикнул Лёнька.

Он хотел было показать рукой, где именно лежит сумка, но вдруг залился смехом и выронил скребницу.

– Ой, не могу! Ой, не могу! – Он съехал с лошади в воду. Там, где должна была лежать сумка с едой, стоял козёл Никишка: он мотал головой, пытаясь освободиться от надетой на рога сумки, которая закрывала ему обзор. Мальчишки визжали от удовольствия.

– Вот чёртова скотинья! – качал головой старик пастух. – Беги к нему, чего сидишь, – крикнул он на Серёжку.

Но козёл уже освободился от обузы и преспокойненько дотягивался своими подрагивающими губами до листочков лозы.

– Знаешь, он какой!

– Як мы его паслы...

– Та на ему аж по двое катались! – наперебой кричали пастушата.

Сергею рассказали, что козла прозвали Никишкой потому, что характером он в точности дед Никита, сторож колхозного сада, главный враг ребятишек. В огромном саду росли яблони, груши, было даже десятка два урючных деревьев. Сторож, знавший тут каждый кустик от высадок, легко уга-

дывал, когда и где ждать маленьких разбойников. А козёл славился тем, что мог отыскать сумку чабана, и стоило тому зазеваться, как эта сумка оказывалась на рогах у Никишки. За это ему и отпилили часть правого рога.

– Ну, будя, будя, – ворчал пастух на расшалившихся пацанят. – Эй, Лёнька, куда задевал гребёнку?

Скребница была на дне. Серёжка нырял вместе с пастушатами и плавал в глубине с открытыми глазами. Пока скребницу отыскиали, у всех покраснели глаза и на коже выступили пупырышки. Время было гнать стада на пастбища.

Козёл опять занял место во главе отары, но теперь новый чабан не спускал с него глаз.

После обеда отару разыскала в степи Галя. Она принесла еду взамен испорченной козлом – хлеб, молоко, редиску. Сидела она по-казахски – ноги под себя, была в выгоревшем сарафанчике. Веснушки теперь остались только вокруг носа, но, сойдя с лица, они перебрались ей на плечи, как будто её обсыпало цветочной пылью. Она болтала без умолку, и Серёжке весело было смотреть на её рыженькие косички с голубыми бантами, начавший облазить вздёрнутый носик и вообще на всё её тело девочки-подростка: выпирающие ключицы, тонкие руки, острые коленки.

Она любила читать и теперь рассказывала ему содержание какой-то «страшнучей» книги, но он так и не понял, какой, потому что она сама себя перебивала, то забегая вперёд, то заглядывая в конец. А он рассматривал её и улыбался. Он спросил, отчего наедине с ним она говорит по-русски, а при людях стесняется.

– У-у! Что ты! Сразу назовут вообразулей и городской...

– А тебе не хотелось бы в город?

– Ещё и как! В прошлом году дедушка брал меня в Чимкент. Знаешь, какие там дома! Улица вроде как стеклянная – такая ровная. А вот в Джамбуле я не была.

Сергей улыбался: он хорошо знал и эти города, и некоторые другие. Может быть, слово «хорошо» – не совсем то, но всё же города он знал. Там у него была совсем иная жизнь, о которой ей лучше и не знать. Она вдруг заговорила о другом.

– А наш Лёнька едет на сенокос, а меня не берут, говорят, – маленькая. А мне уже тринадцать! Ну, ладно, я буду ходить к тебе, правда? – Рыжие косички болтались, глаза, также с рыжинкой, метались то по степи, то по лицу Серёжки, руки опускались, срывали травинки и опять вздымались. Ее раширало многообразие мира – природы, людей, книг, снов и слов...

А он, продолжая улыбаться, сорвал несколько цветочков, сделал букетик и преподнёс ей, шутя, но церемонно став по-рыцарски на колени. Она вскрикнула: «Який ты чудный!» И припустилась бежать так, что из-под её ног полетели комочки земли.

Дождей не было. Солнце прямо на глазах превращало степь в пустыню. Сергей возвращался на свиарник поздно, ужинал вместе с сёстрами и, утомлённый за день, валился на свой топчан. Он всё ещё переживал своё выселение с печи, но Маша, казалось, давно уже об этом забыла. Она то, может, и забыла, но когда сёстры, закрыв сарай и справившись с работой в котельной, уходили «на улицу», он как-то странно ревновал их, и мысли появлялись такие, в которых стыдно было признаться себе самому.

Всё труднее становилось находить свежие участки в степи, полянки или увлажненные родниками балки. Он

привык к солончакам, закрубелым кустам колючек, к серым с потрескавшейся кожей ящерицам.

Однажды вечером Маша после ужина сказала, как бы шутя:

– И чего ты всё дома тай дома? Хиба ж нельзя питы на вульцю?! – И повторила по русски: – Разве ж нельзя пойти на улицу? – Он не сразу понял, но она кивнула в сторону села, откуда доносились звуки гармошки и голоса поющих девчат. Что он мог ей сказать? Он и сам не раз порывался туда, но... однажды даже постоял рядом с танцующими парнями и девушками, но быстро ушёл – стыдился своей старой одежки и танцевать не умел. Летом ведь не натянешь этот проклятый китель, не говоря уж о ботинках. Он всё думал пойти в правление – поговорить с председателем, да не решался.

В тот вечер, когда Маша намекнула, что не мешало бы ему оставить их одних, он особенно обиделся, потому что с той же необъяснимой ревностью заметил на сестрах новые ситцевые платья. Они ждали гостей. Вообще они очень переменялись после ночного костра на базу... Стали смело гнать самогон и продавать его, появились деньги, мужики стали в сторожке привычными гостями. И вот сегодня они, наверно, ждут очередных женихов.

Сергей спустился к речке: ему всегда помогала вода, её течение... Ночь была лунная, тихая и тёплая, в воде трепыхались звёздочки, порой выплескивалась рыба. Он сидел, обхватив руками колени, и думал о том, что делать дальше, как жить. Уйти опять бродяжить? Кричать в детской комнате милиции: «Дядь, отпусти, больше не буду?!» Противно... Да и кто с тобой станет возиться – скоро шестнадцать: усики вон объявились. Да и сможешь ли ты расстаться с Машей и Наташей, с Лёнькой и Галей, с дедом, даже с Митькой

Абыхвостом, которому ты так и не доказал, что... Не важно, что ты должен ему доказать, но – должен! И научиться скакать верхом без седла, и косить, и нагружать арбы... И всё-таки о чём бы он сейчас ни думал, слушая отдалённую гармошку и глядя на лунную дорогу вдоль реки, он никак не мог забыть о том, что сёстры сидят теперь в сторожке с женихами. Ему казалось, что он не такой, как все его сверстники, он – хуже их всех, трусливее, и в то же время никто из них не может похвастаться мыслями, которые не дают ему покоя. Да был бы он старше – он бы просто женился на Наташе! А что?!

Он вздрогнул – чьи-то руки, обхватив ему голову с затылка, прикрыли глаза. Прикосновение было тёплое, ласкающее, а ладошки шершавые и маленькие, дыхание человека учащённое, какое бывает у детей и подростков. Это могла быть только Галя!

– Ты чего тут сидишь один?

Он покачал головой и улыбнулся:

– Присоединяйся, будем вдвоём!

И она села рядом с ним. Так они промолчали несколько минут, прислонясь друг к другу коленками. Ему и в голову не пришло спрашивать у девчонки, чего это она так поздно оказалась у реки. Он не мог подумать, что, придя к деду, вернее, будто бы к деду, а на самом деле к нему, она застала в хибарке весёлую компанию и пошла его разыскивать. Среди поющих и танцующих не нашла...

– Замёрзла? – спросил Серёжка, с улыбкой оглядывая ее фигурку. Поверх дневного платица она накинула шерстяную кофточку, как это делают девушки и молодые женщины, да и по тому, как она держалась, было видно, что ей хочется выглядеть постарше.

– Может, пойдём, а то холодает? – сказал Серёжка. Она вздохнула и встала. И тут он догадался спросить:

– Слушай, а как это ты меня тут нашла?

Он улыбнулся. Он всегда улыбался, глядя на неё. Но сейчас она по-своему истолковала его улыбку и звонко, с обидой выкрикнула:

– Никто тебя и не искал, и не задавайся, понятно? – И убежала.

«Улица» разошлась, но с другого конца деревни доносился одинокий жидкий голосок гармониста, который поддерживал себя басами.

Как Сергей сейчас завидовал парням и девушкам, которым ехать на сенокос! Там живут табором, под открытым небом. Работают до упаду, но и веселятся до упаду! А он тут болтается, только мешает сёстрам. Он так себя разжёт, что, казалось, никогда и ни о чём он так не мечтал, как о поездке на сенокос. Он добьётся этого, он поедет туда.

В хибарку заходить не стал, приютился на соломе возле сарая, где уже похрапывал дед. Это была первая ночь, проведённая Сергеем вне сторожки. Утром его разбудила Маша. На её широком добром лице было выражение вины, но она тут же улыбнулась ему шутливо и насмешливо. Усаживая глупого парня на топчан завтракать, она легонько шлепнула его по губам, дескать, не дуйся... Наташа и вовсе не могла смотреть ему в лицо. В движениях и жестах сестёр появилась плавность и вкрадчивость... А ему было стыдно и горько...

В тот же день он пошёл к председателю.

– Ну, выкладывай, что там у тебя? – спросил тот, выходя из правления. Он по-прежнему был толстый и румяный, и, едва сел в дрожки, у него отвис живот. Несмотря на тридцатипятиградусную жару, он был одет в защитный френч,

галифе и широченные хромовые сапоги. Со всем этим плохо вязалась штатская соломенная шляпа, но в фуражке он бы слишком потел.

Сергей сбивчиво говорил ему о сенокосе и об одежде...

– Ишь ты! – На лице председателя было нетерпеливое выражение. Он считает, что помочь парню надо, но – рановато, не разбаловать бы. Когда-нибудь в райкоме можно сказать к месту: «Что?! Ваши беспризорники разбежались?! А мой работает... Осенью собирается в школу!.. Мы ему и одежонку справили...» И председатель распорядился, чтобы парнем занялись в бухгалтерии. – А насчет сенокоса говори с ним...

– Ну что тут такое? – спросил дядька Семён.

Сергей поднял на него глаза. Теперь, когда на конюхе не было зимней одежды, он казался ещё угрюмее и страшнее: заросшее щетиной лицо, торчащие из ушей и ноздрей волосы, хмурый взгляд в переносицу собеседнику. Вдобавок ко всему, конюх то и дело пощёлкивал камчой о голенище сапога.

– Да это я так, – струсил Серёжка.

– Ну-ну, чего ж так? – неожиданно мягко спросил конюх. – Лошадей запрягать научился? Ну и добре...

На складе нашлась выгоревшая спецовка, правда, не по росту, но её и предложили Серёжке.

– Покуда купишь что-нибудь подходящее, – усмехнулся кладовщик, тот самый дядька Макар, который оскребал кабана Ваську и всё носился с ножом. Он также отыскал справные, хотя тоже великоватые, ботинки.

Всё складывалось отлично. Оставалось отработать последний день на пастбище. День этот прошёл весело, с приключениями.

Никишка привык к новому чабану, они сработались, и, если бы козёл умел говорить, он сказал бы примерно так:

«Вот это чабан! И сам меня не обижает, и другим не дает в обиду. Не садится на меня верхом. Счищает с боков репяхи и колючки!»

День выдался особенно знойный, густо синее, точно затвердевшее, небо не допускало и мысли о дожде и прохладе. Сергей нетерпеливо ждал того часа, когда можно будет отправиться с отарой к реке. Ему представлялось, как он ныряет с трамплина и плывёт, плывёт под водой.

Пастушата на тырле почти не вылезали из воды. А когда они напрыгались и наплавались до головокружения, из-за реки пришёл Султан. Едва увидев его вдалеке, мальчишки, говорившие о завтрашней поездке на сенокос, мгновенно встрепенулись. У него было узконосое и в то же время горбоносое лицо, широкие плечи и кривоватые ноги. И хотя одет он был в обычную серую майку и пузырящиеся на коленах штаны, весь его вид говорил о том, что человек он необычный. Спокойная небрежная походка человека, который никого и ничего на свете не боится. Гордое выражение лица – Султан-чеченец!

Мальчишки уже не могли отвести от него взгляда.

– Знаешь, как он дерётся?! Ногой до морды достаёт!

– Да вин усих мужиков побивай!

Всё это говорилось шепотом, хотя Султан был ещё далеко. На плече он нёс «кошку» – длинную палку с крючьями на конце, ею вытаскивают из реки мордушки.

– Ой, чего-то живот схватило! – прошептал Лёнька, сморщился, и его веснушчатое лицо покрылось потом. Он то порывался встать, то ложился на живот, и всё косил взглядом туда, где Султан шарил «кошкой» по дну затона. Мордушки на месте не было. Лицо чеченца хмурилось. Сергей, глядя на Лёньку, все понял, но понял он и то, что, если бы

на мордушке было написано, чья она, то Султан мог быть уверен, что его-то корзина в безопасности, да ведь как узнаешь...

Сергей хотел крикнуть: «Удирай!» Но и он, и Лёнька заметили, что Султан смотрит в их сторону, и это их сковало на секунду. В следующее мгновение Лёнька спохватился, заметался и, вместо того чтобы бежать в деревню, бросился в воду.

Султан разулся, подкатал брюки до колена и вошёл в речку. Он нашарил таки свою мордушку, но в стороне от того места, куда ставил.

Мальчишки, сидя на песке, притихли. Они мечтали о том, что бы хоть одна шальная маринка оказалась в корзине. Всем было ясно, что мордушку кто-то вытрусил, и все знали, что сделал это Лёнька. Но вообще-то бывают случаи, когда рыба суётся в пустую тару, а назад выйти не может. Но это был не тот случай...

Султан вытряс из корзины лягушат, положил в неё кусок чёрного засохшего хлеба и, раскачав, бросил на прежнее место.

Лёнька плавал посредине реки, не решаясь даже выйти на противоположный берег и дать стрекача. Он, словно примагниченный, не мог оторвать глаз от чеченца. А тот приближался к пастушатам. Вот он кинул на песок «кошку» и спросил:

– Ну! Хто таскал рыба?..

Мальчишки вскочили на ноги и стали божиться:

– Я не бачив, шоб мени...

– Я только пришёл, дядя Султан...

– Э-э, – чеченец презрительно махнул рукой и точно бы скошил их.

– А ты?! – закричал он на Серёжку, спокойно сидевшего на песке. Тот ничего не ответил, только сжал губы.

Султан ещё раз обвёл мальчишек чёрными зрачками и точно обнюхал их вздрагивающими ноздрями. Он понял, кто тут виноват, и вскользь измерил взглядом расстояние между собой и плавающим Лёнкой. Он быстро снял майку и брюки, – у него оказалось белое мускулистое тело, – и пошёл к воде. «Ещё утопит сгоряча», – подумал Сергей. Он плохо соображал, что нужно делать, чтобы остановить Султана, а тот уже подходил к воде.

– Эй ты! – вскричал недавний колонист, подбегая к чеченцу. Султан от неожиданности опешил, потом улыбнулся:

– Каво «ты»?! Чиво ты?!.. – С этими словами он как-то весело размахнулся, чтобы, походя, смести глупого пацана с дороги, но тот поднырнул ему под руку и «взял на кумпол», то есть двинул ему головой в лицо.

Султан расширил глаза и бросил свои ручищи к горлу Сергея. Оба закачались, и, когда стали падать, на спину Султана обрушился страшный удар. Чеченец выпустил своего противника, и тот припустился вслед за пастушатами по направлению к деревне. Убегая, он успел увидеть, как Султан схватил Никишку за рога.

Они добежали до огородов и оттуда, еще задыхаясь, судорожно хохоча, смотрели, как Султан крутил рога козлу, потом вдруг отпустил его и, ударив себя по бокам, принялся хохотать, издавая при этом странные птичьи звуки.



ТИМОША

«Мучной» базар раскинулся посреди Джамбула на высоком холме. Он только назывался «Мучным», а торговали здесь всем, что только можно придумать. Дымящийся плов и дунганская лапша, арбузы, дыни, варёная кукуруза. Старик дунганин, сидя прямо на земле, ноги под себя, продавал саксаул. Серёжка долго приглядывался к нему: может, и этот не старик, а переодетый вор?! Но однажды, во время облавы, пацаны видели, как милиция обыскивала старика и ничего не нашла... Здесь можно было купить фуфайку и кальсоны с солдатской меткой, трофейный аккордеон и отрез на костюм, а также самую настоящую боевую винтовку или даже наган с патронами, но уж это надо было уметь. В загоне для скота визжали поросята, блеяли овцы, мычали бычки и тёлочки, кричали петухи. Торгуясь и зазывая, орали на разных языках казахи, киргизы, дунгане, русские, корейцы, немцы, греки, чеченцы... Легче сказать, кого здесь не было! По-настоящему здесь хозяйничали бабы перекупщицы. Солдаты из госпиталей, беспризорники, инвалиды, люди всех и всяческих профессий и бездельники, воры всех мастей, а также колхозники и кочевые казахи – всё это шумело, пестрело, суетилось. Пилотки, тубетейки, тюрбаны, платочки, чубы и бритые головы... Знойное небо, пыль, жажда, рёв ишаков... Казалось, что полдень длится вечно...

Пели под гармошку и выплясывали в пыли солдаты инвалиды, подвыпившие, на костылях и в колясочках. Пели

что-нибудь жалостливое, вроде: «Как во городе, во Саратове отец дочку зарезал свою» – на мотив «Кирпичиков», или «Скорый поезд к перрону подходит, пассажиры спешат на перрон, а за ними бежал беспризорник, его гнала охрана кругом». И, конечно, фронтовые, но на манер блатных, для «жалости»...

Серёжка с Карабалой сразу оказались на подхвате у базарных торговков. Необъятная баба Маня сидела на двух стульях, а худющая баба Шура вообще не присаживалась, но пацаны знали, что они обе только для вида предлагают покупателям пудру и духи... У них были отрезки крепдешина, золото, колечки, лакированные «лодочки» – всё это воровское, чаще всего переправленное из других казахских или среднеазиатских городов. Время от времени ребята оповещали торговков, что на горизонте «легаша» и какие – многие были «своими»... За всё это пацанам перепала мелочь и кое-какая жратва. Они, конечно, догадывались, что работают на «Чёрную кошку». Эта банда орудовала почти в каждом городе ещё с конца войны, а может, и раньше: Серёжка впервые услышал о ней в Токмаке в сорок четвертом. А так, на первый взгляд, это были бабы как бабы. Любили пустить слезу, могли подкормить инвалида. Жильём для ребят служила прежняя старая мазанка возле кладбища. Одна стена этой хибарки обрушилась, и на её месте вырос кривой тополек. Рядом протекал арык, а вокруг росли лопухи да бурьян. Пацаны натаскали с базара тряпья. Карабала даже примус где-то стянул, но керосина не было да и не хотелось летом коптить белый свет, обходились костром, благо курая хватало. За кладбищем начинались огороды, там добывали картошку, кукурузу, сою.

А потом они встретили Тимошу.

Город был как бы разделён между инвалидами: одни промышляли на базаре, другие – возле кинотеатра, третьи хозяй-

ничали на вокзале, но иногда эти неписанные правила нарушались неопытными новичками. На «Мучном» верховодили Сашка-культяпый и Петька-безногий. «Я родился на Волге в семье рыбака...» – надрывно заводил светловолосый и всегда во хмелю Сашка, который потерял все пальцы правой руки, что не мешало ему выделывать всяческие коленца на гармошке. Петька-безногий, хмурый и злой, сидя в своей коляске, прошивал окружающих чёрными цыганскими глазами так, что те сразу отворачивались или спешили опустить мелочь в его засаленную кепку. Петька потряхивал немытыми смоляными кудрями и отрывисто выдувал на немецкой губной гармошке «Розамунду». Колясочка поддёргивалась взад-вперёд, а по лицу инвалида текли грязные слёзы. Иногда он забывал на земле свою кепку, но её никто не трогал.

И вдруг на «Мучном» появился Тимоша! Высокий, хлёсткий и весёлый, с выгоревшими изжелта-серыми волосами. И руки и ноги у него были в порядке, да и какие это были руки и ноги! Тимоша подходил к балаганчику с силомером и, пока не надоест, вскидывал над головой двухпудовую гирю. А однажды он на спор разбил один силомер, и балаганщики перестали его подпускать к себе. Было ему лет тридцать, он потерял правый глаз и правое ухо. «Слизло при взрыве гранаты!» – говорил он сам. Он носил широкую марлевую повязку. Появившись на базаре, он растянул свой баян и заиграл «Три танкиста», потом «Катюшу». Это было так необычно, что вокруг солдата собралась густая толпа. Пыль, толсто устлавшая базарную площадь и повисшая в воздухе, хрустела на зубах. Зной, запахи пота, навоза. И когда толпа зашумела и стала подпевать, Тимоша вдруг сбросил двумя пинками кирзовые старые сапоги и, наявивая «страдания», пошёл вприсядку, вздымая тучи пыли.

Некоторые пустились в пляс, а другие стали прихлопывать и подсвистывать.

– Во даёт, а! – Карабала тащил Серёжку в круг, чтобы рассмотреть всё как следует, но едва они приблизились к Тимоше, как началась драка: Сашка-культияпый, подойдя сзади, ударил баяниста по затылку, когда тот танцевал вприсядку. Тимоша не удержался и вместе с баяном уткнулся в пыль. И тут ему в волосы вцепился Петька-безногий. Страшно матерясь, он ткнул солдата лицом в пыль, но Тимоша выпрямился и как-то нехотя оттолкнул Петькину колясочку... Потом он сунул баян в руки Карабале, стоявшему рядом, и схватил за шиворот Сашку-культияпого. Тот втянул голову в плечи, а Тимоша, усмехаясь, несильно размахнулся и отвалил ему подзатыльник.

– Вояки сраные! – сказал он, оправляя одежду.

– Я т-тебе, падло, я т-тебе, с-сука! – орал Петька, размазывая слёзы и раскачиваясь на своей коляске. – Что, мало места в городе?! Я т-тебе...

И тут появился молоденький милиционер, весь в поту, нос картошкой и на лице выражение мальчишеской задиристости.

– Чего ты тут развоевался? – прокричал он Тимоше срывающимся голосом. – А ну покажь документы!

– На меня напали, я же и виноватый? – беззлобно ответил солдат, снимая с плеча руку милиционера.

– Ты, Санечка, не трожь его, – добродушно посоветовала баба Маня и заворочалась на двух стульях. – Иди себе, Санечка, иди...

Санечка покраснел и пошел прочь.

– Пошли, солдатик, покормлю, проголодался, небось? – возле Тимоши увивалась рыжая Валентина. В цветастом пла-

тье, с густо накрашенными губами, она усадила солдата на табурет и пододвинула к нему три вареных кочана кукурузы.

Соседние торговки зашептались:

– Успела, стерва!

– А хорош солдатик!

– Ну что, огольцы, кишки марш играют? – Тимоша обернулся к ребятам, которые так и ходили за ним следом. – Ну-ка подзаправьтесь. – И протянул им два початка.

– Да я сама, сама подкормлю ребятишек! – сладко улыбнулась Валентина.

– Гля, гля, добрая гадюка! – зашептала баба Шура.

– Нашла чем угощать! – презрительно сказала Зинка-повариха, грудастая баба в платье из тонкой просвечивающейся материи. Лицо у неё так и лоснилось, а на голове торчала соломенная шляпка, делавшая это лицо еще круглей и огромней. – Иди-ка, служивый, похлебай лапшицы. – И пока Тимоша наворачивал деревянной ложкой лапшу, Зинка умиленно разглядывала его широкие плечи и мокрую от пота гимнастерку.

– Повязку бы заменить, а то, вишь, запачкалась, – негромко сказала повариха и притронулась пухлой рукой к мокрой и грязной марле.

– Лапш-щицы! – шипела рыжая Валентина. – Поработала бы, как я! А то, гляди, обворовывает бедных солдатиков... Лапш-щицы!

– Чего, чего? – Тимоша, нахмурившись, обернулся к Валентине.

– Да болты болтает! – отмахнулась Зинка. – Слушай их больше! И чего это люди таки завидущи?! – И, наклонившись к солдату, прошептала:

– Вот распродамся, пойдём, баньку истоплю...

– Во! Точно гадюка! – прошептал Карабала, догрызая початок.

– Дядь, не ходи до неё, она плохая, – быстро сказал он Тимоше, стараясь не глядеть на Зинку, – она, она...

– Ну-ну, говори, чего она? – Тимоша перестал жевать.

– Она кухарка в госпитале, вот и ворует! – отчаянно выкрикнул Серёжка.

Тимоша ничего не спросил у Зинки, но вдруг сощурил свой единственный глаз и, как бы смущаясь, прошептал, но вполне слышно:

– Спасибо тебе, молодичка, за лапшу... только я это... ранетый... Негожий я, ей богу...

– Вот те и лапш-щичка! – залилась рыжая Валентина.

– Ну! Отмочил солдатик! – заворочалась на своих стульях баба Маня.

Вздыхая, она хлопала себя по необъятным бокам. И тут к Тимоше подошли два милиционера – давешний Саня и пожилой казах.

– Предъяви документы! – строго сказал пожилой.

– Испугал! – спокойно ответил Тимоша и подал ему какую-то бумажку, которую достал из кармана гимнастёрки.

– Та-ак! – милиционер вытер потный лоб и поправил фуражку: – Направление в артель инвалидов. Вот и ступай по назначению...

– Артель-фортель! – усмехнулся Тимоша и нахмурился, видя, что оба милиционера стоят по бокам, точно собираются взять его под руки.

– А иди-ка ты своей дорогой, вошь тыловая! – негромко сказал он пожилому и чуть подался к нему: – Иди, говорю, не то...

Пожилой смутился, глядя на Тимошину повязку, но, отойдя на шаг в сторону, пригрозил:

– Будешь оскорблять – заберём! Герой тоже мне...

– Так! – сказал Тимоша, когда милиционеры ушли. – Брюхо набил, теперь бы вздремнуть минут шестьсот...

Он развернул баян и заиграл «На сопках Маньчжурии». «Плачет, плачет мать-старушка, плачет молодая жена... Плачет вся Русь, как один человек, свой рок и судьбу кляня...» – пел солдат, прислонившись спиной к столбу.

– Дядь, пошли до нас, а? – попросил Карабала, заглядывая ему в лицо.

– Это куда – до вас? – солдат поставил баян на прилавок и добродушно подмигнул Зинке. Она сердито отвернулась. Тимоша оглядел лица пацанов, их драную одежку:

– Беспризорники?

– Ага! У нас тут местечко есть, целая хата. Там хорошо – арык, травка! – соблазнял Карабала.

– Ну, если травка, то пошли. Хотя, постой-ка... – Тимоша вытащил из кармана галифе смятые трёшки и рублёвки и, обращаясь к торговкам, но ни к одной в отдельности, тихо спросил:

– А что, бабоньки, самогончику не найдётся?

Зинка фыркнула, а Валентина поманила солдата к себе. Она быстро сунула ему в карман галифе поллитровку с мутной жидкостью, но от денег отказалась. На миг привалившись к нему, она прошептала:

– Потом, потом...

– Ну, огольцы, ведите в свою берлогу!

Когда пришли на место, Тимоша, оглядев глиняную мазанку и тряпье на полу, покачал головой:

– Ну и хата...

– Щас разведём огонёк, картошечки напечём! – суетился Карабала.

Они отправились с Серёжкой собирать курай, а солдат, опустив босые ноги в арык, прихлёбывал из бутылки самогон. Когда ребята возвратились, он спал прямо на голом полу.

Ребята поели печёной картошки и стали собираться в кино. Рядом с «Мучным» был парк, по вечерам там крутили под открытым небом фильмы. Пацаны, взобравшись на карагач, всё прекрасно видели. Правда, иногда их гоняли милиционеры: они направляли тебе в лицо луч фонарика и ослепляли на миг, заставляя слезить на землю, но это было редко, да и не все слушались. Что они, будут торчать тут до утра?!

Сегодня показывали «Дубровского». Машу играла артистка, очень похожая на Марусю парашютистку.

Серёжка ужасно переживал за неё. Он сразу сообразил, что француз никакой не француз, а Дубровский. И до слёз было обидно, когда она ему отказала из-за какого-то там...

– Дура она всё-таки! – высказался он, когда они слезли на землю.

– В натуре! – согласился Карабала.

Ребята доели остатки печёной картошки и легли спать рядом с Тимошей. Серёжка вспоминал сегодняшний день – как появился солдат с баяном, как его обступили, а Сашка с Петькой... постой! А ведь в спецремеслухе были тоже Сашка и... нет, там был Федька...

В голове всё стало мешаться, и колония, и кино про Дубровского, и Тимоша, – и всё происходило на «Мучном».

Он уже почти спал, когда в хибарку вошла рыжая Валентина. Серёжка сквозь ресницы увидел белую кофточку и услышал, как женщина прыснула:

– Ну и семейка!

Потом она пошла на цыпочках в уголок, где спал Тимоша. Серёжкин сон пропал. Он понимал, что надо прогнать рыжую, но стеснялся, а Карабала дрыхнул хоть бы ему хны!

– Нет, нет, тут не надо! – отбивалась Валентина от солдата. – Пошли на улицу, а то ребятки проснутся.

«Вот зараза, всё-таки увела!» – думал Серёжка и стал будить Карабалу.

– Эх ты-и! – упрекнул его дружок. – Отпустил, мог бы меня разбудить.

На следующий день на «Мучном» не было ни Тимоши, ни Валентины. Говорили, что они «крутят жгучую любовь!».

Он пришёл к ребятам через двое суток. Лицо жёлтое, под глазами синие круги. Он пил из арыка воду, потом стал рваться...

– И чего это ты так нахлебался?! – стал его ругать Карабала. – Просто сил нету глядеть на тебя... А ещё солдат!

– Что-о?! – Тимоша от удивления раскрыл рот. Ему, наверно, стало как-то жалко пацана, а может, стыдно, он поморщился и пообещал: – Ладно... не буду...

– Покалечило, так уж сразу и пить?! – ворчал Карабала.

– Говоришь, покалечило? – Тимоша провёл рукой по свежей марлевой повязке...

А наутро он опять пропал. И тогда ребята вспомнили, что ведь он уходил к Валентине с баяном, а вернулся пустой.

– Может, продал? – предположил Карабала.

– Ну да! Станет он тебе продавать баян! Его и так любая накормит! И тут же, как из-под земли, появился солдат, да не один.

Рядом с ним стояла молодая светловолосая женщина в длинном старом платье. Она держала за руку девочку лет

пяти-шести, на вид чистую казашку. В руках у девочки был ободранный плюшевый медвежонок.

– Вот! Теперь у нас тут целый цыганский табор! – весело сказал Тимоша. – Знакомьтесь, огольцы, это Анна... ну, для вас, тётя Аня...

– А я Таня-Татьяна, – смешно выговорила девочка и протянула ребятам тёмную ладошку. Женщина, краснея через загар, также протянула руку каждому из них.

– А вы тут живёте? А почему у вас нету стенки? А вы кто такие – дяди или мальчики? – тараторила девочка.

Картошка испеклась, все сели в кружок и стали есть. Женщина вдруг заморгала-заморгала и стала объяснять сквозь слёзы:

– Вы, ребятки, не очень ругайте нас с Танечкой... Мы ехали, ехали аж из Мерке... нам надо в Курск, а у нас кто-то украл карточки...

– В Курск, – прошептал Серёжка, – в Курск! – И не удержался: – Так ведь я тоже оттуда! Ну, не из самого Курска, а там недалеко.

– Правда?! – женщина улыбалась, а слёзы текли и текли по её загорелым щекам: – Так и я не из самого, я из Льгова...

– Ну! А я из Михайловки!

– Это слобода-то? Знаю, как же!

– А папашу вы где потеряли? – брякнул Карабала, кивая на девочку.

– А-а! Вот они все, голубчики! Ну и семейка! – перед ними стояла рыжая Валентина. В цветастом платье, с распущенными медными волосами, руки уперлись в бока. Она обвела взглядом всю компанию, как бы споткнулась об Анну, невольно прислонившуюся к Тимоше.

– Что, жёнку себе подыскал, старый козёл?!

– Иди давай отсюда, чего ты тут командуешь?! – Карабала вскочил и изо всех сил оттолкнул Валентину. Она не удержалась и упала в арык. Сразу с неё сошёл весь форс: платье облепило фигуру, волосы повисли потёками. Грянул хохот, а Валентина в мокром платье и с «лодочками» в руках, завизжала и закричала:

– Ладно, ладно! Я вам ещё покажу! Я разгоню вашу банду... Ты у меня попляшешь вместе со своей сучкой! Ты получишь баян... – и загнула такое, что ребятам стало стыдно перед Анной и девочкой.

– Иди, иди, а то ещё искупаю! – пообещал Карабала. Валентина, подхватив сухую глудку с земли, швырнула её, не глядя, в сторону костра.

– Надо расходиться, – хмуро сказал Тимоша. – Соберайся, Анна, пошли.

– Пойдём, доченька, пойдём...

– А как же ты без баяна? Эх! И понесло тебя к этой рыжей! – упрекнул солдата Карабала. Тимоша вздохнул, поправляя повязку, и взял девочку за руку.

– Прощайте, ребятки, не поминайте лихом!

– Вы, это... Вы не сердитесь на нас, – снова заплакала женщина, – мы ехали, ехали...

– От самого Мерке! – усмехнулся Карабала. – Ладно уж, идите, только скорей, а то она приведёт сейчас «легашей», тогда...

– Слушай, надо украсть у неё баян и отдать ему! – загорелся Карабала, как только они остались одни.

– Да он и уедет, куда мы...

– Ну да, так сразу и уедет! Пошли...

Они знали, где живет рыжая Валентина, – в районе вокзала, недалеко от стадиона «Локомотив». Там было две-три

грязные улочки с покосившимися глинобитными хибарами, убогими садиками. Там жили в большинстве торговцы, спекулянты, промышлявшие на складах и вокруг них, – вокзал с его транзитным духом, с загнанными в тупик вагонами. А уж чего только не было в этих вагонах, которые очень умело загонялись в тупики! У рыжей, как и многих других, был ещё один дом, в центре; там она жила с матерью и дочкой второклассницей, нагулянной, по словам Карабалы, от местного знаменитого вратаря... Но летом Валентина почти всё время жила здесь: проще упрятать краденое, откупить, спрятаться самой или спрятать до поры тех, кто поставляет товар.

Пацаны до этого несколько раз помогали рыжей доставлять на перрон или даже на базар судки с борщом, дунганской лапшой, поэтому и двор, и расположение комнат были им знакомы.

Серёжа подставил спину, и Карабала перемахнул через дувал во двор... Вся кривая пыльная улочка была на виду. Серые от пыли шелковицы и топольки, ни асфальта, ни булыжника. В соседних двориках квохтали куры, кричал петух, но ни одного человека не было видно. За дувалом, во дворе, тоже стояла полная тишина. Казалось, прошёл уже целый час, а Карабала не подаёт о себе вести. Может, что-то случилось? Сергей напряженно вслушивался в каждый звук. Но кроме квохтанья кур да гудков маневровых «кукушек», ничего не было слышно.

– Эй, держи! – раздался наконец шёпот Карабалы. Серёжка поднялся на цыпочки, чтобы взять баян, и увидел, что правая рука друга в крови.

– Что это у тебя?! – Он не боялся крови, но сейчас отчего-то испугался и растерялся: баян обрушился ему на грудь и свалил его на землю.

– Да порезал, подумаешь, – отвечал Карабала, – там форточки закрыты, пришлось выдавливать кулаком...

И только тут Серёжка оглянулся и не услышал, а увидел, как из ближайшего дворика вышли два милиционера.

– Легаши! – закричал он, не двигаясь с места.

Карабала не растерялся, он нагнулся, чтобы как-то подхватить баян, но инструмент был тяжёлый и широкий, невозможно было его взять поудобнее и побыстрее – он опрокинул пацана...

– Держи этого, чёрного! – высокий милиционер, делаю громадные шажищи, догнал вскочившего и набравшего ход Карабалу. Серёжка и не пытался бежать, он не мог бросить друга.

– Дядь, это ж Тимошин баян, – пытался что-то объяснить Карабала.

– А продуктовые карточки тоже Тимошины?! – сказал, усмехаясь, маленький усатый милиционер. Оба были «чужие», вокзальные, с ними не сговоришься.

– Да ты пойми, если ты человек! – брал на глотку Карабала. – Тимоша – инвалид, не то что вы, тыловые вши!..

– Да мы ещё и тыловые вши?! – высокий завернул руки пацана так, что тот покрылся потом.

– Отпусти ему руки, отпусти ему руки! – Серёжка рванулся на высокого, чтобы «взять на кумпол», но усатый схватил его за руку.

...Так они оказались в детской колонии.



ЖЕРЕБЁНОК

Сергей запрягал впервые в жизни. И хотя он много раз присматривался, как это делают другие, сейчас всё перезабылось. Руки у него дрожали, он больше всего боялся, что вот-вот подойдёт дядька Семён и увидит, что запрягать парень не умеет. Надевая на Лыску уздечку, он представлял, как конюх ощеривается, показывая прокуренные зубы, как бьёт себя камчой по голенищу сапога и смотрит на него с презрительной жалостью.

Солнце ещё не взошло, было прохладно и сыровато. За спиной, на берегу горной речушки Карасу расположился табор косарей. В переводе Карасу – чёрная вода, Бог знает, почему так называют эти прозрачные речушки, русские зовут их ласково Карасками...

Телеги, травянки, кухня с ямой для котла, горы матрацев и одеял. Оттуда доносились голоса девчат, убиравших постели. Слов не разобрать, но голоса спокойные, девчатам торопиться некуда: пока сойдёт роса, косари смажут травянки да пройдут круг-другой.

Конечно же, по закону всемирной подлости, соседом Сергея оказался Митька Абыхвост!

Он потягивался, переговаривался с ребятами и смеялся, но его толстые, небрежные руки делали сами всё, что положено, и Сергей, завидуя ему и приглядываясь к его рукам, тоже затягивал супонь и уверенно, как ему казалось, кричал: «Машка, ногу!» Гнедая смиренная кобыла заступила

как раз с той стороны, где к ней присосался жеребёнок, она не обращала внимания на Серёжкин окрик. Надо бы огреть жеребёнка кнутом, да у него была такая пушистая мордашка, да и весь он такой ладный да складный, что рука не поднимется отпугнуть.

У Лыски был свой жеребёнок, но постарше, он остался в табуне, и Лыска, тоже гнедая, но с отметиной на лбу, перетаптывалась, тянулась к чужому малышу, а он, не оглядываясь, раза два отбрыкнулся своей тонкой ножкой. Сергей в душе раскаивался, что соврал дядьке Семёну, будто умеет обращаться с лошадьми, но ему так хотелось на сенокос! Да и уезжать отсюда в деревню после того, что было вчера вечером... Нет! Он должен справиться, должен!

– Ну, Серёга, готов? Поехали! – сказал Митька Абыхвост. Он уселся на сиденье, подёрнул вожжи, и лошади тронулись.

Сергей, запрягший наконец, сделал то же самое, но его лошади стояли на месте, и он заметил, что не зануздал их. Пришлось задержаться ещё, а в это время кончил запрягать и поехал к загону последний косарь – тоже новичок, пацанишка лет четырнадцати.

Коля шла вдоль реки, освободившейся от тумана. Сергей покачивался на сиденье и думал о том, что он всё-таки сам, без посторонней помощи запряг лошадей, но радоваться боялся – главное было впереди. Караска была всего-то метров десять-пятнадцать в ширину, но уж очень как-то к месту: без неё тут просто были бы обугленные горы, и уж, конечно, никакого луга...

Трава в этом году была хорошая, копёшки стояли чашто, некоторые были примяты, а иные и вовсе разворочены –

здесь проводили вечера косари с доярками и приезжавшие сюда «на улицу» парни из далеких деревень.

Сергей им завидовал, особенно Митьке! Ну что в самом деле этот Митька? Рожа красная, шея, как у быка, но девчонки, даже те, что постарше, так и липнут к нему, значит, им этого и надо?! Вчера он пристал к Серёжке – пошли да пошли пить молоко на МТФ. Это так говорилось «пить молоко», а на самом деле – гулять с доярками кто как может. Митьке доставляло удовольствие смотреть, как недавний колонист смущается, когда старшие ребята говорят о своих похождениях.

И вдруг, назло Митьке, как бы срываясь в яму, Сергей сказал:

– А что ж ты думал, не пойду?!

Молочная ферма, та самая, напротив которой жил и работал Сергей, по весне перекочевывала в предгорье, а то и в горы. Сейчас она находилась за рекой, в полутора километрах от табора косарей. Саманные домики да юрты. Дувалы, ишаки и низкорослые азиатские лошадки. Камни, кустарник. И, как в каждом ауле, множество полуодичавших грязных собак.

Доярки, справившись с работой, сидели на лавочке возле сепараторной. К некоторым уже пришли ухажёры, и перед тем, как разойтись, разбиться на парочки, они вместе лузгали семечки и смеялись, когда чубатый парень, игравший на балалайке, начинал спокойно и размеренно очередной нецензурный куплет частушки. Пахло здесь кизяками, сложенными для просушки в пирамиды. Пахло парным молоком, пылью, бараньим помётом и тем, чем всегда пахнет в ауле, – кошмой и кислым сыром, который называли «курт». Временами от реки налетал ветер, и тогда в вихре

кружились клочки шерсти, обрывки бумаги, курай, солома, пыль.

– Кого это ты привёл, а, Митька? – спросила девушка, показавшаяся Серёжке ненамного старше его. Она сидела с краю, одна, без ухажера, была гладко причесана и круглолица.

– Кого бы ни привёл, тебе дела нету! – весело отвечал Митька, вскидывая большую тёмнокудрявую голову.

– Тоже свёкр выискался! – Девушка засмеялась, оттопыривая полные губы, и спокойно взяла Сергея за руку: – Пишлы, молочка налью...

Рука у неё была шершавая и тёплая. Он смущённо упирался, но, ещё не зная почему, её он стеснялся меньше, чем других сидевших здесь же девушек. А чубатый парень с балалайкой, не обращая ни на кого внимания, продолжал спокойно и мелодично матерщинить.

– Гляди, Любка, Володьке напишу! А то он там служит, а ты тут с мальчиками развлекаешься! – крикнул Митька.

– Да нехай, нехай, молоденький хлопчик не в счёт! – сказала Митькина ухажерка.

Сергей вошёл вслед за Любой в сенцы. Здесь было сумеречно, а из угла послышался приглушенный смех – там уже обосновалась парочка. Комната была тесная, сплошь заставленная узкими кроватями. Посредине, впритык к подоконнику, примостился маленький столик. На нем горела семилинейная лампа. Земляной пол днём смазывали, он отдавал желтизной, и к запаху пудры и дешёвого одеколona, к запаху молока и человеческого жилья примешивался слегка приторный кизячий дух. За столом сидел в войлочной шляпе и ужинал молоковоз, знакомый Сергея.

– Э-э, Любочка, мой будет ревновать! – сказал он, улыбаясь и протягивая парню чёрную руку.

– Ладно, ладно, дядько Кадыр, вы ревнуйте, а мы зараз напьемся молочка тай добре! Так, хлопчик? А як тебе зовуть, а? Как тебя зовут?

– Да ну, не хочу я молока! – не зная, как высвободить свою руку из её размягчающей тёплой ладошки, чтобы её не обидеть, сдавленно отвечал бедный парень, но Люба и не обратила внимания на его слова. Она усадила его на кровать и заглянула в лицо:

– Та, чи ты мене боишься? Посиди, я сейчас...

Она ушла, а он не знал, что делать.

– Люба очень хорошая девочка, – тщательно выговаривая слова, произнёс Кадыр, – её не надо бояться.

Она вернулась с большой кружкой молока и двумя кусками домашнего хлеба:

– Вот, будем есть.

Отпив глоток, она передала кружку ему, и так они и пили по очереди из этой литровой алюминиевой кружки.

На столе стояло небольшое, полустёртое на обороте зеркало, и Люба, должно быть, неосознанно, по привычке, временами поглядывала в него. Сергей мельком увидел в нём и себя: неестественное, вытянутое лицо, распавшиеся по сторонам длинные выгоревшие волосы – и то, что он увидел, сковало его ещё больше. Люба прикоснулась к нему тёплым плечом, ему было так хорошо, что он боялся потерять сознание, и сидел очень беспокойно. Казалось, что она может внезапно вскочить, усмехнуться ему в лицо и крикнуть:

– Гляньте-ка на него! Сидит тут, прижался... А ну, геть!

Он даже отодвинулся, но Люба тотчас же опять прижалась к нему плечом. Она была в белом халате. Должно быть, его приход помешал ей переодеться. Её молодое загорелое лицо то надвигалось на него, то, когда она, отхлебнув мо-

лока, вскидывала голову, отодвигалось. Оно притягивало Сергея, это молодое загорелое лицо с полными губами, прибеленными молоком, и, даже отворачиваясь, чтобы сделать глотательное движение, он не переставал видеть её лицо и чувствовать запах мыла и солнца от её волос. Она что-то говорила и смеялась, прикасаясь к нему руками и оттопыривая отёртые от молока, полные, обветренные и чем-то смазанные губы; она смотрела на него и молоковоза, причём, говоря с Кадыром, примешивала к русским и украинским ещё и казахские слова, но Серёжка не мог сосредоточиться: он боялся и ждал, что вот сейчас молоковоз кончит ужинать и выйдет на улицу, а он останется наедине с Любой.

– Эй, Сергей! Заснул, что ли?.. – донесся до него голос Митьки Абыхвоста. От неожиданности он соскочил с сиденья травянки. Лошади стояли в загоне. Косари заливали масло в колесные муфты. Новичок делал то же самое. Он спешил, чтобы присмотреться, как они будут заезжать в загон. Трава была выше колена, от неё шел сильный и ровный запах. Сергей вспомнил и повторил про себя слова конюха: «Смотри, не напорись на мелкорослый кустарник, сломаешь косу. А главное – следи за жеребёнком, отгоняй его кнутом...»

Косари включили травянки – и пошло! Сергей ехал вслед за Митькой. Поначалу он старался повторять все движения Абыхвоста, но травянка работала нормально, за нею оставался такой же ровный валок травы, как и за другими, и новичок стал успокаиваться. А когда пошли на третий круг, он почувствовал, что у него всё получается, и в груди потеплело. Он представил, как дядька Семён смотрит на него со стороны и говорит: «А что?! Молодец, сук-кин сын!»

Жужжали пчёлы, стрекотали кузнечики – это было слышно в перерыве между треском травянок. Звуки эти

вместе с отфыркиванием лошадей (косари поопытней во все не стали их зануздывать, а другие разнуздали теперь), с едва доносившимися сюда голосами девчат, ворошивших сено, с запахами вянущей травы и, как почти всегда здесь, безоблачное небо – это был сенокос, настоящее дело, и он выполнял эту работу вместе со всеми и наравне с самим Митькой Абыхвостом!

Солнце стало припекать, косари снимали рубашки. Сергей тоже. Загорел он ничуть не хуже других, когда пас в степи овец. И ему опять подумалось, что со стороны трудно отличить опытных косарей от него, новичка. Он затаённо обрадовался, когда один из ребят, правда, тоже из новеньких, сломал косу. Он смеялся, этот белобрысый пацанишка, держа в руке обломок новенькой, блестящей на солнце сегментами косы.

– Обрадовался, дурачина! – закричал на него Митька. – Выезжай из загона!

Пацан весело съехал на обочину, выпряг лошадей, вскочил на одну, держа другую в поводу, гикнул и помчался к табору. На остановке, когда заливали в муфты масло и курили, Митька, покачивая крупной головой, смеялся:

– Вот зараза! Это он нарочно...

– Как это нарочно?! – удивился Серёжка. Другие ребята дружно расхохотались.

– Да так, – отвечал Митька, – очень просто: видно, ему надо домой, а, поди, скажи конюху, чёрта с два он отпустит! Ну а теперь отвезёт косу в кузню и гуляй до утра...

– Помнишь, Мить, как мы в прошлом году, когда привезли «Тарзана»?! – сказал Лёнька.

– Э-э, сказал тоже – «Тарзана»! То совсем другое!

– А что же вы тогда? – спрашивал Сергей, единственный неопытный среди косарей.

– Да штука простая, – смеясь, отвечал Митька. – Ты вот заливаешь в муфту масло, а ты... попробуй напудёрить в нее!..

Время шло к обеду. Теперь надо было отгонять оводов. В голове стоял сплошной гул, хотелось пить.

На речке, недалеко от табора, купались ребяташки из аула, косарям слышны были их голоса, видны радужные брызги, поднимавшиеся за каждым нырльщиком...

Жеребёнок уморился или его донимали мухи: он тащился далеко позади и только на остановках подходил к травянке.

– На табор! Обедать! – скомандовал Митька после очередного круга.

Недавно скошенная, чуть привядшая трава пахла одуряюще. Распрягая Машку и Лыску, Сергей потрепал их по холкам и по думал, что вечером, когда к чаю выдадут по кусочку сахару (здесь почему-то давали огромные куски), надо будет расколоть пополам и угостить их. Лошадей отпустили на волю, они сразу взбодрились и весёлым табунком побежали к реке.

– Эй, косари! Бешбармак остывает! – кричала с табора кухарка, но косари мчались наперегонки к реке.

На противоположном берегу был трамплин, там всё ещё купались ребята из аула, и когда перебрались через мелководье, Лёнька, первым скинув на ходу одежду, взмыл вверх и колом вошёл в воду. Сергей тоже высоко подпрыгнул и нырнул удачно. Под водой он задержал дыхание и так проплыл до другого берега. Тело сразу стало легче, голова свежей. Не хотелось даже высовываться из воды!

Чуть повыше, на перекате, стояли в воде по пояс кони. Сергей с благодарностью отыскал среди них своих и чуть заметного издалека воронёнка. Накупавшись, пошли к табору. Бешбармак был крутой и жирный. Косари быстро опу-

стошили алюминиевые миски, запили компотом из сухофруктов и стали искать пристанища. Под арбами на сене отдыхали бабы и девки. Косари посмелее, конечно, среди них и Митька Абыхвост, устраивались рядом с ними.

Сергей улёгся под телегу фуражира, ещё раз подумал, как хорошо всё сошло до обеда, и заснул.

Пробудился он, услышав хриплый голос конюха, – «Подъём!» и постукивание камчи о голенище сапога.

«Погоди, не спеши, – говорил себе новичок, – дай встать ребятам, а то конюх вдруг станет расспрашивать, что да как, а день то ещё не кончился...»

Было жарко, перед работой не мешало бы искупаться, но при конюхе сделать это было невозможно.

– Черти его принесли! – бурчал Митька.

И снова был загон и треск травянок. Сергей машинально помахивал кнутом, отгоняя жеребёнка, нажимал на рычаг, когда нужно было поднять косогон. И всё удивлялся, глядя на себя со стороны. В то же время он не мог отделаться от предчувствия, что что-то должно произойти... Чтобы избавиться от этого наваждения, он стал думать: идти или не идти сегодня на МТФ. Очень даже хотелось пойти, но... он стеснялся.

А вчерашний вечер закончился так. Молоковоз кончил ужинать, взял свою промасленную фуфайку и собрался уходить. Сергей тоже торопливо встал, но Люба, улыбаясь, легонько, но твёрдо положила ему на плечи свои руки и снова усадила на кровать:

– Та гостюй ще трохи...

– Нет, я пойду! – В горле запершило. Он пытался не смотреть на неё, но всё смотрел и смотрел в её открытое, улыбающееся, доброе лицо.

– Ну так шо ж, иди...

Она осталась сидеть на кровати, но он, идя к двери и чувствуя затылком её взгляд, думал, что она только сейчас занята им, пока он рядом, а может, она просто забавляется его смущением и как только он выйдет, она сразу же забудет о нём и обо всём, что было этим вечером. Ему казалось, что было очень многое и такое, о чём должен помнить не только он, но и она. Ощущение её теплоты, мягкого, ласкового говора, её круглое загорелое лицо, ложбинка на груди, по-выше – загорелая, а глубже к выемке халата – не тронутая загаром... То, как она, почти не делая различия, смотрела то на него, то на молоковоза и что-то говорила и поминутно заглядывала в зеркало, вытирая после этого губы или скользко прикасаясь к светлым своим волосам, – всё, что относилось к ней и окружало её, было так хорошо, что Сергей неожиданно для себя да и чужим каким-то голосом сказал:

– А можно мне завтра прийти?!..

– Так шо ж, – не удивившись и так же ровно улыбаясь, ответила Люба. – Приходи, Серёжа.

Она принялась расстилать постель, и когда он, проходя мимо окна, увидел взметнувшееся платье, почувствовал радость: значит, она ни с кем не встречается?! Постой, а какого это Володьку поминал Митька Абыхвост? Ну да, солдат, служит...

На дворе была ночь. В ауле лаяли собаки, блеяли в загородке овцы, а с той стороны, с табора, доносились звуки гармошки и девичьи голоса. Не успел Сергей сделать и десяти шагов, как из темноты вынырнул Митька Абыхвост. Он хлопнул парня по плечу и сытым, с ленцой голосом спросил:

– Ну и как?

– Что?! Да никак...

– Эх ты-и! А чего ж тогда до них ходить-то?! – сказал Митька и пропал во тьме.

На таборе были разостланы постели, прямо на сене, под открытым небом. Судя по звукам гармошки, «улица» ушла в глубину луга. Возле кухонного котла сидели мальчишки, собиравшиеся в ночное, что-то доедали и смеялись.

Сергей залез под одеяло и, лежа на спине, смотрел на звёзды и старался не думать о словах Митьки. Но как было об этом не думать, если это думалось само! Если это не давало покоя и будоражило до слёз...

...Косилка остановилась так внезапно и резко, что Сергей едва не вылетел из сиденья. В следующее мгновение он увидел и услышал одновременно, как жеребёнок горячо и неверно отпрыгнул в сторону и заржал, точно заплакал.

Его мать, Машка, рванулась было за ним, но травянка была тяжела, рывок беспорядочен, косилка уперлась косоногом в кустарник, и лошади остановились. Сергей подбежал к жеребёнку, и его шибануло запахом пены и пота. Сердце приостановилось, потом забухало где-то в ушах, когда он увидел, что чуть выше левого заднего копытца хлещет чёрная, как ему показалось, кровь.

– А-а-а! – закричал он и сам упал в траву рядом с жеребёнком. В растерянности он пытался зажать рукой кровоточащее место. Жеребёнок рванулся, чтобы встать на ноги, ударил Сергея по подбородку, но боли он не почувствовал, бросился было за воронёнком, но сообразил, что нужно чем-то перевязать рану, и побежал к травянке. Схватил рубашку, оторвал от нее рукав, но теперь не удавалось поймать жеребёнка.

– А ну! – Митька оттолкнул его в сторону и ловко схватил воронёнка за ногу, тот сразу упал. А Сергей тотчас же заплакал от жалости к бедному жеребёнку и к себе и от злости

на себя. Он вскочил и бросился бежать куда попало, но споткнулся и плашмя упал на землю. Не соображая, что он не упал, а его сбили, опять кинулся к реке, но его снова сбили.

– Ну! Вытри сопли, колонист! – Над ним стоял Митька Абыхвост.

– А-а! Ты так?! – безумный пацан бросился на Абыхвоста, чтобы «взять на кумпол». За все свои беды и обиды он ненавидел сейчас именно его, этого небрежного деревенского парня, которому всё давалось так легко... за его силу, за его небрежность, за всё... Теперь казалось, что этого Митьку в разных обличьях он знал давно, с самого рождения; и во всём виноват он, с его толстой шеей, бугристой грудью, с его огромной, как котёл, темнокудрявой головой, с его наглыми, как бы поверхностными, но всё видящими глазами... С его небрежной усмешкой, которая так неотвратимо действует и на мужчин и на женщин...

– Да ты чи сдурел?! – Митька легко смахнул его железным локтем, выставив его как-то мгновенно и остро, так что Сергей отлетел в сторону. – Охолонь! Ей богу... Поди лучше вымой морду, вся в крови...

Потом они сидели на берегу и Митька говорил:

– Чудило ты! Ей-бо, чудило!.. Ты что же думал, что сразу всё и пойдёт по маслу?! Да я вон с мальства на конях, и то не раз подрезал...

– Врёшь?! А дядька Семён?!..

– Чего он тебе дался, дядька Семён?! Человек как человек, получше кого другого... Врёшь?! А зачем врать-то?! Говорю – два раза подрезал жеребят... Не вошёл в работу и подрезал... И ты войдёшь... Вот увидишь, войдёшь... А пока дуй в деревню, я сам побалакаю с конюхом, дуй давай.

Митька хлопнул его по спине, и он пошёл через луг, стараясь не смотреть на то место, где стояла в упряжке его травянка.

До деревни было километров восемь. Сергей шагал по дороге, напрямик, по степи. На брюки нацеплялось репьев, колючки хлестали по ногам, потому что ботинки были зашнурованы только до половины, но он шёл, ничего не поправляя. Смотрел себе под ноги, но когда единственный раз поднял голову, то увидел чуть в стороне человека, который ехал верхом по дороге и как бы приглядывался к нему... Как бы раздумывал: подъехать или не надо, и не стал подъезжать...

Митькины слова мало успокоили Сергея. Он думал и думал о жеребёнке, о том, что вечером будут говорить о нём на таборе. Дядька Семён выругается и скажет: «А чего ещё от него было ожидать?!» И сплюнет, и щёлкнет камчой по голенищу. Узнает и Люба и тоже подумает, что он вообще не такой, как надо.

– Ну и пускай, пускай! – твердил он вслух, чтобы наказать себя самого. Ком в горле застрял и никак не проглатывался. Выход был только один – уходить из колхоза. Он представил, как подходит к станции, садится тайком на товарняк и... дело привычное. Чимкент, Джамбул или Самарканд... Да мало ли куда он мог уехать! Везде могут найтись знакомые «по воле» пацаны, хотя многих, конечно, пересажали... Вот именно – пересажали...

Стало темнеть. Попрохладнело. И только теперь он заметил, что идёт без рубашки: забыл на лугу, да и куда она без рукава. А в таком виде далеко не уйдёшь. Схватят там же, на станции. Надо что-то придумать. Может, пойти в правление и попросить расчёт... И что же? Глупо! Село было рядом, пахло кизячным дымом от топившихся летних кухонь.

По дороге только что прогнали стадо коров – ещё не улеглась пыль. Мычали во дворах коровы, блеяли овцы. Сергей грустно смотрел на чисто выбеленные дворовые постройки, окружённые хворостяными частоколами, скамеечки в палисадниках – их через часок заполнят старики, а молодые соберутся «на улицу». И что же, расставаться со всем этим?

Дед сидел на приступке сарая, от него пахло самогончиком. Он сразу же заговорил, чисто по-русски:

– Ага! Вот и ты! Только что уехал Семён...

– Дядька Семён?! Он же не знает, что я...

– Знает, знает! Ты, говорит, дед, успокой его, они там кажен год подрезают... Пстой, а чего це ты без рубашки? Забыл? Пойди до нас, нехай старуха дасть якусь Лёнькину.

– А вы чего здесь сидите? – спросил Серёжка.

– Та у нас там гости, – подмигивая, отвечал сторож. Возле дедова двора Сергею долго стоять не пришлось: открылась дверца сарая и оттуда вышла старуха, Галина и Лёнькина бабушка. Она несла ведро, накрытое марлей.

– Чого тоби, хлопчик?

Он не раз уже удивлялся, какая она маленькая в сравнении с могучим дедом. Не решившись попросить рубашку у нее, он попросил позвать Галю.

– Зараз покличу...

– Ой, Серёжка! А я думаю, кто это там с нашей бабушкой. – Галя подбежала к нему, секунду помедлила и повисла на шее. Ему в грудь уперлись твердые маленькие комочки. Он чуть отстранился, она догадалась и покраснела.

– А я к тебе по делу...

Галя нахмурилась, потом кивнула и пошла за рубашкой. Принесла свёрток в газете, отдала и стояла, ожидая, что он скажет. А он тоже молчал.

– Всё? – спросила она.

«Вот беда, – подумал Серёжка, – наверно, она к нему относится, как он сам к Любе...» Но что он может ей сказать. Сейчас он мог бы вспомнить всё, что между ними было, ничего серьёзного, но так кажется ему, а ей? Ему стало грустно и жалко её, он не знал, что нужно делать, но уйти просто так было невозможно. Он вдруг обхватил её голову, притянул к себе и поцеловал где-то рядом с губами. Она вскрикнула «ой!» и убежала в хату.



ЛЮБА

Степь была рыжая, выгоревшая, на горизонте всё те же снежные отроги Тянь-Шаня. И всюду и везде знойное, без единого облачка небо. На дороге лежит толстый слой пыли. Когда налетает смерч, он слизывает пыль с участка дороги, но постоянный суховей тут же заравнивает её. Бричка молоковоза плотно уставлена бидонами, они качаются, звякают. Сергей никак не может устроиться: на бидонах не усидишь, твёрдо и шатко, между ними тоже неудобно. Парень ёрзает, а молоковоз Кадыр посмеивается. Сейчас, в полдень, он кажется ещё чернее, чем обычно, скулы шире, черты лица резче, и он тянет свою бесконечную и рыжую, как сама степь, песню без слов: «О-о-о... А-а-а...» Глаза его закрыты, он похож на спящего, но он не спит – подёргивает вожжи, причмокивает губами, он экономит силы, ему лень говорить и смотреть...

Сергей видит его широкую спину, стянутую грязносерой фуфайкой, высокую войлочную шляпу.

Жарко. Степь однообразна: склонённый под ветром, словно текучий, ковыль, лысины солончаков, сусличьи норы.

Когда они выехали из деревни, горы казались километрах в пяти, но вот они уже едут второй час, а горы всё там же.

Глядя на Кадыра, Сергей вспоминает, как пил тогда с Любой молоко, и ему радостно, что он едет туда, где будет и она; но кто-то внутри него смеётся над ним, говоря, что всё было случайно, что Люба и думать о нём забыла. И тогда

он запрещает себе вспоминать её, но снова и снова вспоминает тот единственный вечер. Люба, Люба!

Жарко. Под мышками у молоковоза черно от пота, но фуфайку он не снимает, хотя у него под нею рубашка. Сам же Сергей то скидает, то надевает свою, вернее Лёнькину, темную рубаху – тело загорелое, притягивает солнечные лучи, но и под материей не спрячешься...

– Твой совсем пропал, – усмехается Кадыр, показывая жёлтые от постоянного курения и зелёного чая зубы. Вместо усов и бороды на его лице растут редкие кустики волос, настолько отдельные, точно их выращивали специально.

– Ну, тебе тоже не сладко! – отвечает Серёжка. – Хоть бы малахай снял.

– Зачем малахай?! – Кадыр кладёт свою чёрную в трещинах руку на голову Сергея, трогает его длинные беспорядочные волосы, дескать, вот этот малахай снять бы не мешало. Потом он освобождается от своей шляпы и показывает своему напарнику круглую бритую голову.

Они надолго замолкают. Солнце печёт. Бричка тарахтит. За спинами у них остаётся пыль, взбитая лошадьми и бричкой. А впереди – теперь уже заметно, что они приближаются, – горы. Сначала холмы, похожие на курганы. Вершины их так выгорели, что кажутся обугленными. Но чем дальше, выше, тем каменистее, а где-то ущелье, там, конечно, ещё и травка зеленеет, и кустарник цветёт. И совсем уж на краю неба снеговые вершины. Сергей представляет, как бы он сейчас бегал по снегу босиком, валялся на нём и хватал его ртом! Но до снега далеко...

И вот уже дорога поднимается в гору. Бидоны отклоняются назад, принимают устойчивое положение, Сергей почти засыпает.

На перевале Кадыр зануздывает лошадей, чтобы не понесли на спуске в ущелье. Внизу вьётся речка, похожая сверху на ручеёк. Но вот они спускаются к ней, и она оказывается не такой уж узенькой, метров до восьми – десяти в ширину. Ревёт, перекатывает камни, пенится. А в ущелье – трава! После выжженной степи здесь точно бы островок лета, даже весна. А вода такая, что больше минуты в ней не устоишь. Серёжка окунается с головой и выскакивает из воды. Кадыр только мочит губы, даже не пьёт.

– Чай надо пить, кумыс, – говорит он. – А если пить вода – много надо вода...

И он разнуздывает и поит лошадей и дает им полчаса, что бы пощипали травки. А потом они отправляются в путь, дорога всё время идёт в гору. Сергей опять дремлет...

– Э-эй, бала, вставай давай, приехали! – молоковоз толкает его в бок.

Сергей открыл глаза и увидел большую, сравнительно ровную площадку, две большие юрты и загородку для скота. Но людей вокруг не видно.

– Рано мы приехали, – говорит молоковоз.

Он распрягает лошадей и ведёт Сергея в юрту. Там прохладно, полы застланы кошмой, посредине стоит маленький столик, а в углу куча матрацев и одеял. Хотя людей в этом году здесь ещё и не было, запахи обжитые: юрта не первый год служит людям. Пахнет сбитым войлоком и «куртом».

– Ну я пошёл в другую юрту, а ты оставайся здесь. Там семья... А тут... Люба приедет!

И Сергей тотчас представил загорелое, свежее, круглое лицо Любы, запах мыла и солнца от её волос, оттопыренные полные губы, и до замирания сердца его захватило духом свежести, доброты и простоты. Он ещё подумал, что

такие же губы были у его детдомовского друга Гришки Пантюхина.

Как-то всё у него тут сложится?

Он вышел на свежий воздух, оставив полог открытым, чтобы проветрить юрту на ночь. Решил пройтись, осмотреться, скоротать время до приезда доярок. Здесь ему пасти телят, здесь... Как-то всё будет?! На западе, за двумя отчетливо видимыми хребтами, солнце клонилось к закату, отчего вершины первого, поросшего кустарником, перевала сделались уже сумрачными, а вершины второго, покрытого снегом, особенно облака над ним, ещё удерживали лучи заходящего солнца. Вокруг было зелено, пахло травой и цветами, но не так, как ими пахнет на лугу, – воздух в горах более разреженный, у непривычного человека могла бы закружиться голова, но Сергей привык к горной местности, он жил в Азии с начала войны.

Солнце ещё не зашло, а уже чувствовался холод снеговых вершин и ледяных рек. Ещё час-два и станет по настоящему холодно. Так уж всегда в горах: днём – лето, ночью – зима.

Сергей шёл по ровному месту, ему казалось, что он может дойти до перевала, поросшего кустарником, но вот он взошёл на очередное возвышение – и перед ним открылось ущелье. Внизу был водопад, он ревел так, что сразу закладывало уши. Сверху видна была сплошная молочная струя. Брызги и пена сливались в одно. В сгустившейся тьме ущелье казалось бездонным.

Сергей сидел на камне и смотрел вниз. Свод неба, ограниченный горами, был уже усеян звёздами, они мигали и казались живыми существами среди полного безлюдья.

Он вернулся в юрту, там было темно. Он зажёл спичку, постелил себе посредине, отодвинув столик в угол. Полог оста-

вил открытым и, лежа, смотрел сквозь квадрат на мигающие звёзды и слушал приглушенный расстоянием шум водопада.

Так он и уснул в надежде, что теперь-то и начнётся новая, настоящая жизнь.

Он не слышал, как приехали доярки. Но когда они вошли в юрту и стали устраиваться, смеясь и ойкая, и продолжая какой-то откровенный разговор о своих ухажёрах, и не замечая при свете коптилки, что посреди юрты на постели спит человек, укрывшийся с головой, он проснулся. Он слышал уже кое-что в их разговоре, что не позволяло ему встать и дать им понять, что он это слышал. И он притворился спящим. Вот они стали укладываться, и одна из них села на него. Он поневоле зашевелился, и она испуганно вскочила:

– Ой, девки! Тут кто-то есть...

– Аи! И правда! – Они хлынули было из юрты, но тут Надя, ухажёрка Митьки Абыхвоста, которую Сергей узнал по голосу, вскрикнула:

– Девки! Да кому тут буты? Мабуть, Кадыр, чи шо?! – Она поднесла коптилку к лицу спящего и засмеялась:

– Любка, це твий ухажёр, як его?..

– Он, он! – согласилась Люба. – Это Серёжа...

Лампу поставили на стол, и Сергей сквозь ресницы увидел Любу такой, какой и ожидал, только вместо белого халата на ней было платье в горошек.

– Ну что ж, Любка, ты и ложись рядышком, – сказала, смеясь, Надя.

– А чога?! Хлопчик молоденький тай чернобровый! – отвечала Люба.

– Може, ты его поцелуешь? – засмеялась одна из доярок.

– Верно, Любка, это тебе готовый женишок! Чего ждять Володьку, может, он там давно уже женился...

Сергей затаил дыхание. И вдруг одна из девушек приблизилась к нему, – он не увидел, а услышал, – нагнулась, обдала его своим тёплым дыханием, и тотчас же тёплые губы прикоснулись к его губам, чуть сбоку. Он с трудом удержался, чтобы не вскочить. Сердце билось с остановками. Дышать было трудно, и он молил Бога, чтобы поскорее погасили свет.

Наконец они успокоились и легли спать, а он пробудился окончательно. В нём теперь было как бы два человека: один, которого все знали и которого угнетало, что его не принимают всерьёз, шутят над ним, – этот был в отчаянии, а второй сбивчиво и смутно думал о том, что Люба его поцеловала, хотя и шутя, но поцеловала... и стоит ему сейчас протянуть руку – и он дотронется до неё. Можно под видом сонного придвинуться к ней, и он так и сделал, но положить на неё руку не осмелился. Измученный всем этим, он задремал.

Проснувшись среди ночи, он сразу понял, что, кроме спёртого воздуха, кроме запахов кошмы и кислого сыра, мешает ему ещё что-то... и не просто мешает, а не дает покоя... В юрте рядом с ним спали молодые девушки и женщины... А он?.. А он?!.. Что же это такое?! Откуда эта мука?! И самое ужасное то, что Люба вплотную придвинулась к нему и дышит на него, и её рука лежит у него на груди... Он задышался, боясь пошевелиться, он чуть не плакал оттого, что ему до смерти хотелось прикоснуться к ней, обнять её, но он боялся, он трусил. И вдруг, как это бывает с человеком, который долго сдерживался, он сделал произвольное движение – как бы отстранил её руку в надежде, что она не отстранится, но как только он это сделал, Люба тотчас же отвернулась на другой бок. Он выскочил из юрты, и его охватили горы и звёзды. Он стоял, вытирая испарину, и ноги

его дрожали. Было холодно, пахло сырой травой, из ущелья доносился гул водопада. Босые ноги замёрзли. Но видеть и чувствовать был способен только вчерашний, бывший Сергей, но не тот, кого поцеловала Люба, и теперь почти в бреду он подумал: а что, если она не спала, когда её рука лежала у него на груди? Как тогда Маша! А отвернулась она только из-за презрения к его трусости. Да! Конечно, это не рука её лежала на его груди, это Люба обнимала его.

– Эгей, бала! Бергель... (Мальчик, иди сюда!) – услышал он старческий голос и пошёл к соседней белой юрте.

На противоположной входу стороне дымил костёр. В нос ударило острым запахом кизячного дыма, глаза заслезились, и старик показался обломком скалы...

– Карашо! – сказал чабан-старик. – Ты что тут приехал, а?

Но тот, к кому он обращался, был весь во власти своих мыслей о том, что же было в юрте... Старик был похож на Кадыра, но, кажется, светлее лицом и с настоящей бородой аксакала. Он по-своему понял состояние парня и поспешил успокоить:

– Его не надо боись! Он не кусает...

Только теперь Сергей заметил сидящего чуть в стороне от костра громадного волкодава. Он смотрел в огонь, и его тяжёлая седая голова была спокойна. Но с тем обострённым чутьём, какое у него сейчас было, Сергей представил, как этот зверь может рвануться во тьму.

Он не заметил, как рассвело, как ушёл старик и погас костёр. Он сидел один, и ветер раздувал остатки пепла.

На взгорке возле юрт стояло стадо коров. В загородке блеяли овцы. Старая казашка доила кобылу. Горы очищались от тумана. Вокруг было много цветов: васильки, колокольчики, какой-то поздно цветущий кустарник. Всё, всё

было свежо и красиво... Только зачем это всё, зачем это ему, если его будут презирать, если он сам будет себя презирать за трусость... Как он станет смотреть в глаза другим людям? Как он станет говорить с доярками, с Любой, когда он, как больной, ни на миг не мог забыть, что они – женщины... А спать в юрте рядом с ними?! Видеть и чувствовать каждую секунду, что они – женщины... Знать, что у них есть мужья и ухажёры, которым всё можно, и только ему ничего нельзя, потому что он слюнтяй и трус! От всего этого можно было сойти с ума!

Из юрты, где он спал, стали выходить доярки. Он жадно смотрел, как они потягивались, высоко подымая грудь, как умывались, вздымая тёплые мягкие руки, а когда надевали белые халаты, становились строже, но стоило кому-то из них потянуться за подойником, и ему в голову бросалась кровь...

Вот сейчас, наверно, выйдет и Люба...

Он не успел ещё и додумать, как всё в нем оборвалось и возликовало одновременно: ей, телятнице, незачем вставать вместе с доярками, она сейчас в юрте, одна... одна!

Это было наваждение, это было сильнее его, сильнее всего, что он когда-нибудь в жизни испытывал. Как только он решил пойти к ней, ему стало легче, но возле юрты решимость его стала пропадать. Он затылком почувствовал восходящее солнце. Надо спешить, скоро вернутся доярки. Он не смог одним движением откинуть полог, замешкался. При свете, хлынувшим внутрь, увидел, что Люба приподняла светлую голову, и застыл. Она потянулась, улыбнулась, и это придало ему сил. Надо будет спросить у неё... но что спросить?! Он двигался, как во сне... Её круглое, чуть припухшее от сна лицо, тёплые оттопыренные губы. Пронеслась мысль, что, конечно, она спала ночью, он всё себе наво-

ображал, её рука легла случайно ему на грудь. Но отступить было поздно.

Она увидела выражение его лица, странную походку, перестала улыбаться и вдруг охрипшим голосом спросила:

– Ты чего, Серёжа? Чого ты?! – повторила по-украински. Её руки шарили вокруг в поисках платья.

– Люба, Люба...

Он трусил пуще прежнего, презирая себя за эту трусость и пытался победить её. Он не мог ничего с собой поделаться: то, что притягивало его к Любе, было так сильно, в этом так много сошлось, что он был похож на лунатика. Ткнулся ей в подбородок, она оттолкнула его, хотела вскочить, но он повис у неё на шее и отыскивал её припухшие и мгновенно пересохшие губы.

– Ну, боже ж ты мий! – глухо вскрикнула Люба, и Сергей, боясь что она вырвется и не чувствуя больше сил, заплакал... Она странно судорожно вздохнула, точно хлебнула воздуха, мельком увидела выражение его глаз и обняла его...

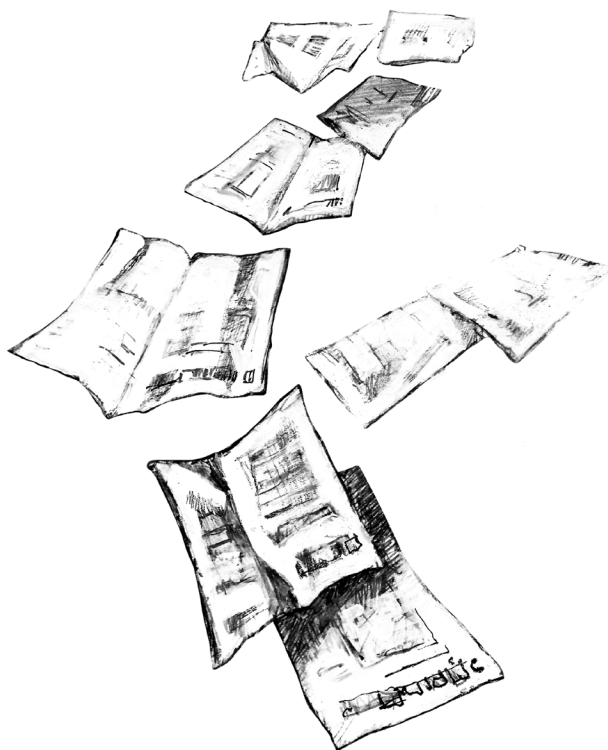
Потом он лежал счастливый и глупый оттого, что нашёлся человек, который доверился ему, и это была женщина. Она поняла и приняла его, и, значит, он настоящий... и он смотрел на Любу с такой благодарностью и вдруг подумал: «Ну и дурак же ты, Митька Абыхвост!!!...»

А Люба одевалась и со смутной, почти без стеснения, материнской улыбкой косилась на него и повторяла:

– От дурне, от дурне...



РАССКАЗЫ



ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ, ИЛИ «ЧТО ЗРЯ»

Рассказ

«Дорогой и любимый Иосиф Виссарионович!» – мысленно писал я, но дальше дело не двигалось. Наплывали воспоминания, мешали посторонние мысли. Лучше бы сидеть за столом с ручкой и чернильницей. Не такой уж я грамотный, чтобы сочинять письма без бумаги, да ещё кому?! Сталину...

Днём, когда мы надумали писать вождю, дома была тётя Маруся, Шуркина и Колькина мать. Как она отнесётся к нашей затее? Скорее всего – запретит. Раза два она уходила к соседям, но под ногами вертелся вредный и болтливый Колька. Головастик, как мы его называли, сразу донесёт матери.

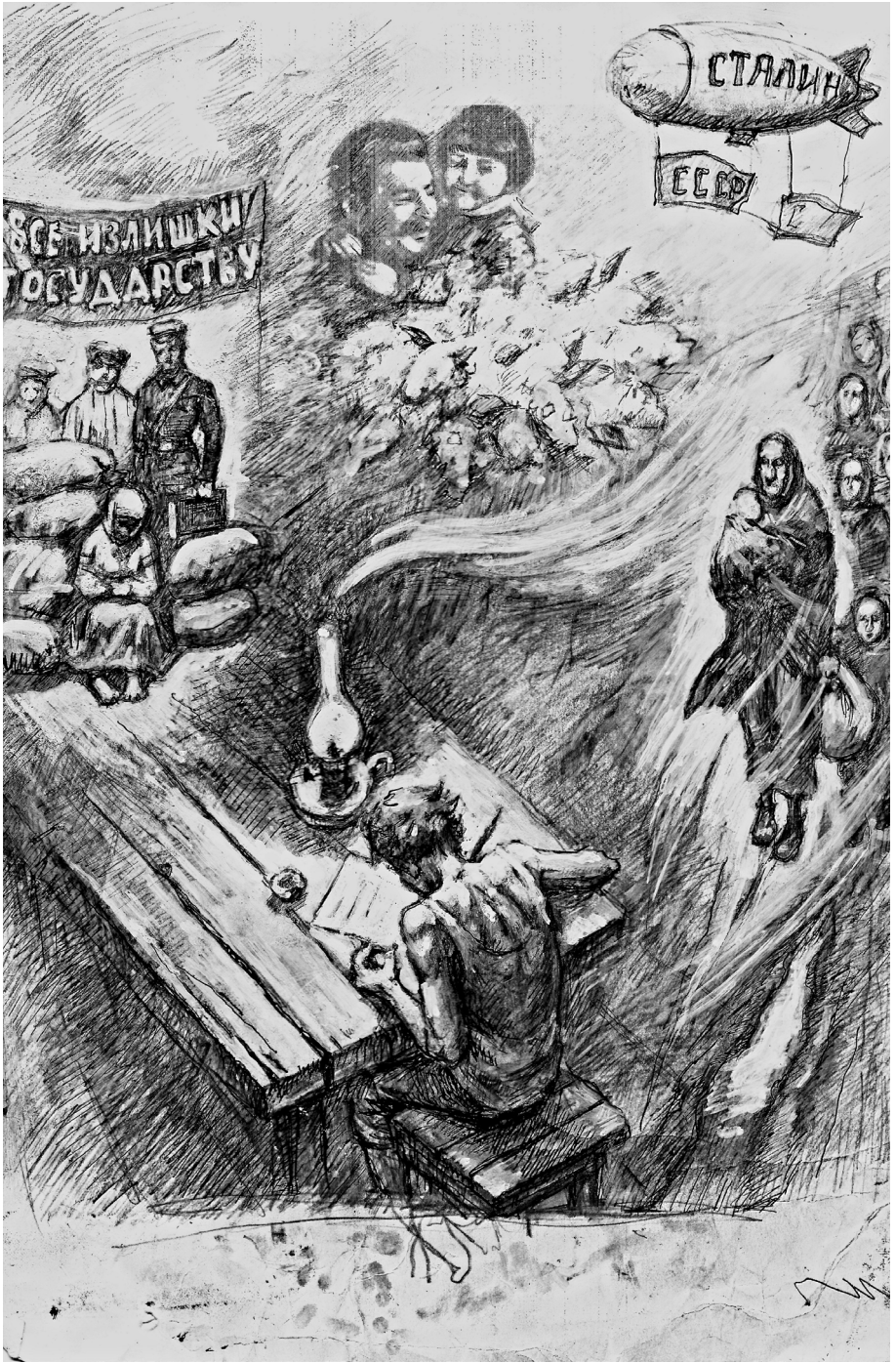
Мне бы спокойно дождаться утра, когда хозяйка уйдёт на наряд, а Колька в школу, – он учится во втором классе, – но я боюсь передумать, да и всё равно теперь не уснуть. Дело в том, что я уже несколько дней сиднем сижу дома, в школу ходить не в чем – ни ботинок, ни фуфайки. По совету Шурки я обратился к председателю колхоза, но тот от меня презрительно отмахнулся.

– Ну и чёрт с ними! – весело сказал мой рыжий друг. – Пиши Сталину, сразу запляшут, я тебе в натуре говорю!

– Ста-алину?! Ты что, в своём уме или в дядьки Панькином?!

– Трус! А ещё и беспризорник. – И тут же отвалил мне свой фирменный щелбан.

Шурка Пекарев на год старше меня, ему пятнадцать. Сам он закончил только два класса, пишет, высунув язык, читает по складам, но ничуть не жалеет: «А а... всё равно быкам хвосты крутить...»



Не за кем ему было расхаживать по школам. Отец и старший брат погибли на фронте. Мать почти потеряла зрение – она работала по наряду, там, где не нужны острые глаза. Главным кормильцем был он, Шурка, крепкий рыжий пацан с весёлыми жёлто-коричневыми глазами, большим ртом и железными руками.

Он не занимался спортом, не накачивал силёнку, но его побаивались даже взрослые. Делать умел всё и ничего на свете не боялся. У него было какое-то странное любопытство к тому, как устроено всё живое. Бегал в овчарню во время окота, помогал конюхам принимать жеребят, вскрывал внутренности кошкам и лягушкам... Брр! Живодерище!

Два года назад их семье крепко не повезло. В сорок седьмом, голодном, подрядились пасти хозяйских телят: по утрам пастушатам перепало от сердобольных бабушек и тётушек – то хлеба, то початок кукурузы, то кружечка молочка.

Перед октябрьскими праздниками готовили закрома под расчёт, но в стаде оказалось на три головы меньше. Волки оставили бы хоть какие-то следы. Видно, поработали двуногие звери.

Старший брат тёти Маруси, дядя Ваня, работал в колхозе конюхом. У него было четверо детей, да ещё он приютил убогую Таню, и всё же поделился последним, помог сестре купить усадьбу. Так это называлось – «усадьба». На самом деле был только фундамент дома да место, где был сарай. Да ещё садик с тремя корявыми старыми яблонями. И пятнадцать соток огорода. Прежний хозяин после смерти жены переехал в дальнее село к дочери и перевёз, разобрав до кирпичика, все свои строения. А за год до этого он вырубил почти весь сад, чтобы не платить налог.

Весной сорок восьмого мы сами вырыли ямку возле фундамента и стали делать саман, благо, почва глинистая и арык рядом. Посадили над водою несколько пирамидальных тополей, а в саду, выкорчевав с десяток заскорузлых пеньков, разместили саженцы яблонь и груш. В самой серёдке, чтобы укрыть от казахстанских суховеев, аккуратно и с надеждой пристроили два урючных и одно тутовое дерева.

У прежнего хозяина было две жилые комнаты, нам же не хватило леса на перекрытия, а приближалась зима, пришлось смириться с одной комнатухой и сенцами, остались даже без кладовки.

Саманный домик получился тёплым, дядя Ваня с Шуркой сами соорудили широкую русскую печь, где теперь спали тётя Маруся с Колькой. Мы же делили с Шуркой топчан. Полы, конечно, были глиняные, но хозяйка связала каждому из нас толстые грубошерстные носки, вроде тапочек.

Два дня назад тётя Маруся пекла хлеб – дядя Ваня принёс немного муки, в доме настоялся кисловатый дух. За окнами была осенняя безлунная тьма, брехали собаки, а я лежал, дожидаясь, пока все позасыпают. И вот хозяйка стала всхрапывать. Головастик уснул ещё раньше, а что до Шурки, то мой дружок был готов, как только прикоснулся к подушке.

Так... Сейчас я встану, вынесу в сенцы табуретку, одна там уже есть. Аккуратно поставлю семилинейную керосиновую лампу. Не забыть потихоньку вытащить из Колькиной сумки чернильницу и тетрадку.

Чтобы не шлепать и не шаркать, я снял тапочки и вышел босиком. Уселся. Пристроил рядом с лампой Колькин задачник, на него положил косой двойной лист бумаги, выдраный из тетради Головастика.

Для начала надо изложить, кто я и чего хочу. «Пиши как есть!» – советовал Шурка. Легко сказать! А как есть?! Разве люди говорят или пишут всё так, как есть? Может, начать так: я, такой-то и такой-то, родился там-то и там-то... Остался без родителей и попал в детдом. Воспитывался там, в Курской области, а потом... потом началась война и нас эвакуировали... Вот бы описать, как нас везли по степи, как налетели немецкие самолёты... Описать город Курск, разбомбленный вокзал... Нет, кому нужны все эти мелочи. В общем, был в детдоме, а потом, когда кончилась война, убежал «на волю». Потом... поймали и направили в спецремесленное училище... Может, добавить, что эти спецремеслухи создавались «по Вашему личному распоряжению, дорогой и любимый Иосиф Виссарионович»? А то он сам этого не знает?!

Значит, потом я убежал из ремесленного, беспризорничал два года... Нет, если не считать детколонию, то полтора. А вот вопрос, писать ли насчёт этой самой колонии – как и за что я туда попал? «Э-э, – скажет вождь, – так ты вон какой: мало того, что твои родители враги народа, ты и сам...» Нет, этого не надо. А теперь я – воспитанник колхоза, живу в селе Юрьевка Джувалинского района Южноказахстанской области. Ну вот и вся моя биография. А дальше – чего я хочу, зачем пишу великому вождю своё письмо. Сперва надо рассказать, что летом я пас овец, осенью – свиной, до сих пор пятки свербят – а ну, побегай-ка за этой скотинкой по стерне босиком! Нет, об этом говорить не стоит: Сталин – вождь и какие то там свиньи... Надо написать, что школа в Сидоровке, что мне надо отмеривать каждый день по шесть километров туда и столько же обратно, оно бы ничего, да у меня нет ни обуви, ни одежды. А в зимние месяцы тут такие бураны, что и заблудиться недолго. Местные

жители с ноября устраивают своих учеников на квартиры в Сидоровке. Бураны, да ещё и речка Караска замерзает. Так что же, мне босиком по льду катить до школы? Да и весна тут с придурью: то в марте огороды сажают, а в иной год так даже в апреле, а то и в мае подсыплет снежку: что ни говори, а погоду тут определяют отроги Тянь-Шаня.

Сидоровка – богатое украинское село, там даже в сорок седьмом дали по триста граммов на трудодень. Осенью, когда я ещё учился, почти каждый раз после уроков кто-нибудь из местных мальчишек затаскивал меня к себе домой. Густой украинский борщ, да с салом! Да стакан молока или вишнёвого компота на записку.

Директор школы Михаил Алексеевич Шерегада был по национальности румын или молдаванин, ссыльный, как и многие здесь. Высокий, в длинной шинели без погон, до того провонявший табаком и с такими ядовито жёлтыми пальцами, точно это и не директор, а беспризорник, сшибающий бычки. В первый раз, когда я пришёл к нему и попросился в седьмой класс, он усталил на меня свои чёрные глазищи и вдруг расхохотался:

– Это что ещё за явление?! Почему босиком?

Да, я был босиком, с длинными выгоревшими на солнце патлами, в латаных-перелатаных, пузырящихся на коленях штанах, которые, правда, были выстираны хозяйкой.

– Ну, чего молчишь? Откуда ты появился? – не переставая улыбаться, спрашивал директор.

Я коротко рассказал о себе, умалчивая обо всём, что рисовало меня не с лучшей стороны. Тогда он спросил, сколько я закончил классов.

– Только не придумывай, говори как есть, всё равно узнаем...

Я призадумался, не зная, что ответить.

– Не помню... честное слово, не помню!..

Его широкие чёрные брови поползли вверх.

А я не врал – в самом деле не знал, в каких классах учился, а в каких нет, забыл после тифа и дистрофии. Нужно было вспомнить что-то особенное, такое, с чем связана учёба в том или ином классе.

До войны я в школу не ходил – это точно. Иначе мне пришлось бы подписывать «бумагу». Нацарапает пацан или девчонка каракулями свою фамилию – и всё, гуляй себе спокойно, ты поступил как настоящий пионер, – отказался от своих родителей, врагов народа!

Кажется, в первый класс я пошёл в эвакуации в сорок втором. Школа стояла посреди большого дунганского поселка. После мягкой и доброй зелени Курского подстепья сразу как-то запоминались и поражали воображение мутные арыки, персиковые, тутовые деревья. Да и в огородах вызревали необычные для глаза овощи – соя, бобы. И ещё такое особенное растение – мак с надрезанными головками и как бы накипевшей на срезе густой жидкостью.

Мы уже знали, что это за сок и отчего так ценятся эти коробочки. Подглядывали в щели сараев, как дунгане курят опиум.

До снега мы ходили в школу каждый день, а потом... Нет, всё же первый класс я закончил нормально, ведь во втором уже нет чистописания. А вот на следующий год в наших краях стало совсем плохо с продуктами. Да и лозунг был: «Всё для фронта! Всё для Победы!»

Наши ботиночки и бушлатики задолго до зимы перекечевали к сверстникам дунганам, казахам, киргизам... словом, к домашнякам. Ты ему бушлатик – он тебе десяток початков кукурузы или ещё чего, да в придачу щепотку другую анаши:

«План покуришь, всё горе забудешь, и по плану пойдёшь воровать...» Такие песенки распевали даже дошколята. То же самое и с башмаками. Но мы люди казённые, оставить нас без обуви невозможно, – нам выдавали колодки, самые настоящие деревянные колодки! И ничего страшного! Местные дунгане специально заставляют своих девочек носить такую обувь, чтобы ножки были маленькие и узкие. Первое время было смешно: схватишь эти самые колодки в руки и бегом до школы! Но зимой-то школу отапливать нечем, чернила замерзают в чернильницах, а уж босые ноги... Проветришься разок другой и слёг с температурой. В общем, второй класс я закончил только наполовину. В третий ходил, хотя и не до конца. Запомнилась голубая ель, привезённая нам с Тянь-Шаня и поставленная в женском общежитии. Бывший табачный склад или павильон, а теперь жилое помещение. Там когда-то сушили табак, и для этого между фанерными стенками оставляли люфт, чтобы продувалось. Осенью мы сами обкладывали эти стеночки саманом.

Но в тот новогодний вечер мы своими телами обогрели женское общежитие, опоясав роскошную тянь-шаньскую ель четырьмя кругами. Нашим воспитателям удалось даже где-то раздобыть игрушки. Нам зачитывали отметки за полугодие, кому-то выдавали почётные грамоты. Похорожки в эти два-три дня не приходили, видно, начальство попридержало их до поры. А главное, что было в тот вечер, – это появление Деда Мороза. Он вытаскивал из обширного верблюжьего мешка и вручал нам шоколадки или «второй фронт» – так мы называли американскую тушёнку. Самые счастливые получали сгущённое молоко в банках с иностранными этикетками – эти банки присылали из Англии детдомовцам полякам.

А вот в четвёртом классе я не учился – это точно. Убежал из детдома «на волю» сразу после Победы. Той же осенью меня поймали и направили в спецремесленное – спец... – потому, что эти заведения были основаны для беспризорников и колонистов.

Ничего этого я директору не сказал, но признался, что алгебра или немецкий для меня тёмный лес.

Он покачал крупной тёмной головой и весело сообщил:

– Ладно, попробуем посадить тебя в шестой, не потянешь – переведём в пятый. Читать любишь?

– Ну да! Я много чего читал: «Три мушкетера», «Тайна профессора Бураго», «Макар следопыт»...

– Добре, добре... Тебе надо постричься, возьми вот рубль, сходи в парикмахерскую.

После уроков я летел домой, воздавая хвалу всему цыганскому роду, я был тогда уверен, что цыгане и румыны, или там молдаване – одно племя. Минуя выгоревшие и выбитые овцами холмы и лощины, я вспоминал курские луга, Свапу и цыганский табор на её пологом берегу. Всё вокруг так чисто и зелено, небо такое голубое, луг такой пёстрый и влажный, и нет ему конца, и только где-то на горизонте в дымке – Трофимовский лес. Если залезть на высокий берег, то даль видна километров на двадцать, и даже глаза устанут, коли попытаешься распутать ленту реки. Но мы знаем тут всё наизусть, каждую корягу, каждый раkitовый кустик.

А цыгане! О, как замирало рано поутру детское сердечко, когда, проснувшись, ты слышал диковатый призывный голос тряпичника: «А вот кручки, свистульки, кукулы!» Он так и говорил – «кукулы»... «Пр-рынимаем тр-рапки, др-ранные калоши, выдаём свистульки мальчикам хор-рошим!»...

Отдавать нечего, всё давно выгребли и выскребли старшие пацаны, и ты мучительно ищешь повод подойти и постоять рядом с тряпичником. А там, за рекой, мы всё время вертелись возле табора. Запах лошадиного пота, пёстрые одежды цыганок, сладкий дымок костра, кривые телеги и фургоны с тряпьем и другими живописными пожитками!

А цыганята, в драных штанах и всегда босые, они-то, эти чумазные и вольные наши сверстники, крикливые, драчливые, снились мне по ночам. Вот он стоит восьми или десятилетний чертёнок, рот до ушей, чёрная кудрявая голова всклокочена, а ноги – то ли они такие чёрные, то ли грязные. Это нас заставляют мыть ноги и перед «мёртвым часом», и на ночь, а у них не жизнь, а малина... И этот чумазый чертёнок то зажимает, то разжимает тёмную свою ладошку и на ней поблескивает то, что для нас дороже золота, – рыболовные крючки, да не один – целый десяток! Он кричит, издевается, показывает острый язычок: «Эй, безмамкин, скидайвай давай штаны, получишь кручок!» А сам приплясывает, сатана, готовый тут же дать стрекача. Однажды один такой довёл меня до слёз – так хотелось заиметь хотя бы один крючочек, а уж леску я бы нашёл – ссучишь нитку вдвое или втрое, навощишь или же просто склеишь хотя бы мылом... Я тогда заплакал от обиды... И вдруг услышал грубый голос и увидел, как огромный цыган с серьгой в ухе отвалил моему мучителю подзатыльник, разжал его ладошку и, качая большой головой, стал отдирать от его кожи рыболовные крючки. Он поманил меня к себе, вложил в руку невиданное богатство и тут же сблизил столкнул нас с цыганёнком головами, дескать, давайте миритесь...

Рубль, который дал мне директор, мы с Шуркой истратили на папиросы.

– Подумаешь, парикмахерская! Да я сам тебя оболваню лучше любого. Зато деньги наши!

Пачка «Беркута» стоила сорок копеек, за ту же цену принимали в потребкооперации одно куриное яичко. Было в этом совпадении что-то непростое и даже мистическое. Хочешь занять пачку «гвоздиков» – гони яичко! Но где его достать? У самих Пекаревых не было даже кошки. Да к тому же в нашем полуголодном существовании сырое подсолненное яичко – это была мечта, смак!

Шурка вполне прилично остриг меня овечьими ножницами. Я стал похож на Емельяна Пугачева, каким он изображён в школьном учебнике.

«Дорогой и любимый Иосиф Виссарионович!...»

Когда Шурка посоветовал, а потом и раскочегарил меня писать Сталину, я с самого начала сомневался – а что я скажу великому вождю про своих родителей? Как было бы хорошо, если бы мой отец погиб на фронте! Ведь обманывать вождя нехорошо...

– А что он скажет, если я так и напишу, что мои родители... в общем, это самое? – спросил я у своего друга.

– Чего, чего?! Враги народа?! – презрительно ответил рыжий, выпячивая толстую нижнюю губу, на которой постоянно накипало что-то вроде пены. – Знаем мы таких врагов! Сболтнул какую-нибудь фигню (Шурка сказал откровеннее...) и загудел «по камушкам, по кирпичикам»... А чтоб не скучал, и матку заодно... Да чего ты ему будешь расписывать? Скажи, что нету у тебя ни отца, ни матери, и дед помер к едрене матери! Ладно, шучу, шучу... Короче, пиши, чтобы поставили на квартиру в Сидоровке да купили шмотки... Сталин только моргнёт – на цирлах побегут, я тебе в натуре говорю! Только надо это... письмо опустить на станции,

а то перехватят... Можно в ящик на почте, а лучше всего прямо в поезд! – И отвесил мне свой железный щелбан. А когда я полез на него, он одной своей левой завернул мою правую за спину и, убедившись, что мне больно, отпустил и подставил свой кумпол: – Отвешивай три за один!

Нет уж, спасибочки! Его хоть кувалдой бей – не почувствует, а твой палец болит потом целые сутки.

Я сидел в сенцах и выводил слова, аккуратно макая перо в чернильницу, чтобы не посадить кляксу. Мне до смерти хотелось курить. Вечером мы с Шуркой продумывали одну операцию насчёт добычи курева. А сейчас под угрозой утренних железных щелбанов я завернул в тетрадный клочок два наших бычка, весь НЗ. Когда я затянулся и вдохнул в себя запах паленой бумаги, перед глазами возникла картина: товарищ Сталин держит на руках девочку и улыбается в знаменитые усы. Я помнил, что девочку звали Мамлакат и что она дочь хлопкороба из Узбекистана, а вот фамилию её я забыл. Зато я тут же представил ещё одну фотографию – великий вождь со своей дочкой Светланой. Сколько умиления вызвала эта газета в детдоме. Воспитательницы и пионервожатые друг перед дружкой расписывали, как Сталин любит детей и всё такое прочее. И уж никак нельзя было не вспомнить в который раз Марусю-парашютистку. Коротко подстриженная, с ранней весны загорелая, потому что всегда на солнце и – всегда с улыбкой. На плакате, под которым был в красном уголке фотомонтаж, одна из девушек-физкультурниц напоминала нашу любимицу, но та была нарисованная, а Маруся живая, родная! И когда она собирала парашют после приземления, и когда задирала ввысь голову и прогоняла своих подшефных мальчишек и девчонок, чтобы кто-то из старших не упал на них с высоты, – как мы её

любили! А когда приезжал её проведать отец-пограничник, крепкий, перетянутый ремнями, с орденом Красного Знамени на широкой груди, – весь детдом ходил за ним хвостом.

И вдруг, после его отъезда, мы узнали, что он враг, троцкист-бухаринец. От Маруси потребовали осудить отца, она отказалась. Комсомольское собрание состоялось в том же «красном уголке». Августо, кумир мальчишек и друг Маруси, испанец, участвовавший на родине в настоящих боях, попытался вступить за свою подругу и её отца... Собрание проходило после обеда, а к вечеру должен был принять меры райком комсомола. Мы с Дарио, младшим братом Августо, вертели у дверей и всё слышали. Комсомольцы кричали, как на митинге. Августо, почти не знавший русского языка, всё время твердил одно и то же: «Камарада, нехор-росо, несесно...» (Нехорошо, нечестно...).

Мне так жалко было Марусю, что лучше бы умереть, но я твёрдо осуждал Троцкого и Бухарина, – в учебниках истории у них были выколоты глаза! Дарио чувствовал моё настроение и пытался отстраниться.

После собрания старшие ребята отправились в райком. В другое время мы обязательно увязались бы за ними, но в этот день я поступил, как изменник Родины. Когда Маруся вместе с братьями-испанцами отправились к Свапе, я не посмел пойти за ними открыто. Но вот они скрылись за оврагом, в орешнике, и я по кустам, по кустам стал пробираться вослед. Спрятавшись в густой луговой траве, я наблюдал за тем, как братья утешали плачущую Марусю.

«Дорогой и любимый Иосиф Виссарионович!..»

В сорок четвёртом году в Токмак привезли эшелон с чеченцами, карачаевцами и ингушами. Во время завтрака в детдомовскую столовую влетел дежурный и закрычал:

- Пацаны! Айда бить врагов народа!
- Айда! Айда! – подхватили детдомовцы.

И свора человек в шестьдесят с «поджигами» и с рогатками понеслась в город. Даже ледяная вода горной реки Чу не охладила наш пыл. Он угас сам собой, когда вместо здоровых и крепких врагов мы увидели несчастных людей, копошившихся вдоль полотна железной дороги. Их просто вышвырнули из скотских вагонов и оставили на обочине. Старухи и матери с детьми, взрослые мужчины и подростки – все истощённые, заморенные, больные...

И только с наступлением темноты сердобольные казашки и дунганки стали уводить к себе женщин и детей. И несколько дней подряд уборщики на вокзале грузили в телеги трупы детей и стариков и, даже не прикрыв простыней, сбрасывали в общую яму.

Некоторые мальчишки и девчонки из числа ссыльных оказались в нашем детдоме. Мы подружились с Курбаном Мусабаевым. Он был старше меня года на два. То, что он рассказывал, было страшно. Людей зашвыривали в вагоны, как скот. В пути умирали от голода и жажды, от болезней. Где-то возле Арала пили паровозную воду, да и ту выменивали у машиниста на женские украшения, чудом оставшиеся при них. Курбан сам видел, как охранники расстреляли перед строем своего же товарища за то, что он отдал банку тушёнки женщине с больным ребёнком. Мы с Вовкой Малаховым сразу же влюбились в девочку чеченку Женю Темирсалтанову. Может, её звали не Женя, а как-то иначе, но похоже. У нее были тонкие черты лица и яркий румянец, мы не знали, что виной тому туберкулез. Носили в барак для малышей жаренные в золе початки кукурузы, сою, персики, соль – всё, что удавалось добыть. Однажды мы сидели у ночного костра

возле клеверного поля, когда Женя уложила своих маленьких сородичей спать. Была ранняя осень. Мы смеялись, пели блатные песни, и вдруг Женя заплакала и что-то быстро стала говорить по-своему. Вовка сначала погладил её по головке, а потом поцеловал в щеку, и она тут же убежала во тьму. Мы сидели у догоравшего кизячного костра, наблюдали за летучими мышами, которые со странным писком проносились над нашими головами. Рядом был арык, запруда, слышно было, как журчит вода. Внезапно какой-то дикий ужас охватил мою душу: как раз перед этим мы похоронили двух мальчишек, умерших от дизентерии. Котловина, где лежало наше село, показалась мне теперь страшной и бездонной ямой...

«Дорогой и любимый Иосиф Виссарионович!...»

Я никак не мог закончить письмо. Посторонние мысли и картины не давали сосредоточиться.

В детской колонии, а потом и в беспризорщине я не раз слышал от блатных: «Йоська – наш пахан! В натуре...» Надо было писать только о себе, но в том-то и дело, что у меня никогда не было ни своего отдельного времени, ни своего пространства. Невозможно было выделить себя из толчеи.

Той осенью, когда мы с Пекаревыми вселились в свой домишко, к нам пожаловал налоговый инспектор. Мы только что убрали огород, и всё добро отправили в новый погреб. Теперь у нас были картошка и лук, свёкла и кукуруза. И только громадные жёлтые тыквы остались в огороде, просвечивая боками сквозь картофельную ботву. Наша голая усадьба выглядела осенью особенно сиротливо. Прямоугольник фундамента, где у прежнего хозяина была вторая комната и кладовка, ещё не зарос травой, чтобы не было видно латки, – это служило постоянным напоминанием нашей убогости.

Когда светлый крепыш в кожаной куртке остановился посреди двора, тётя Маруся вязала в комнате носки. Мы с Шуркой резались в «очко», примостившись на глиняном крыльце. Игра ли, конечно, на те же «гвоздики».

– Привет, хлопцы! – наигранным тоном сказал непрощенный гость.

Мы не впервые видели налогового инспектора, он обычно заходил в соседние дома, но что его занесло к нам? Все знали, что мы – нищие.

– Мать дома? – спросил красавчик в кожаной куртке.

– Дома то дома, да на что она тебе? – поинтересовался Шурка, глядя на него рысьими глазами – такими они становились, когда рыжий внезапно хватал за хвост ядовитую змею и, мгновенно раскрутив её в воздухе, клясал о землю.

– Ты мне тут не тыкай! – поднажал баском пришедший, но я заметил, что его серые глазки насторожились. – Говорят зови, значит, зови.

– Чего, чего?! – Шурка сделал пару шагов в его сторону, а тот вдруг побледнел и закричал, сразу охрипнув:

– Брось, бабка! Брось топор! – и в тот же миг, обернувшись, мы увидели тётю Марусю: с поднятым над головой топором она бросилась на инспектора, и спасло его только её плохое зрение – она споткнулась, сходя с крыльца. Мы с Шуркой повисли у неё на плечах. Инспектор не стал долго ждать, подхватил свою сумку, бросился за угол дома.

– Мы ещё с тобой поговорим! – донеслось оттуда. На следующий же день хозяйку вызвали в правление, заставили подписаться на заем и уплатить налог за сад и огород. Выручил дядя Ваня, продавший недорощенного бычка.

Наконец письмо было написано. Но как быть с конвертом? Отсылать простой солдатский треугольник – казалось

мне, нехорошо, неуважительно по отношению к великому вождю. Надо купить хороший конверт и аккуратно, печатными буквами вывести: «Москва. Кремль. Товарищу Сталину». Я гордился тем, что так придумал: коротко и ясно. Ладно, конверт я куплю, когда мы провернём комбинации с куриными яйцами.

Я свернул письмо и положил его в карман брюк. До поры о нём не должны знать ни тётя Маруся, ни тем более головастый Колька. Потихоньку, чтобы не скрипеть дверьми, я внёс в комнату погашенную лампу и улёгся рядом с Шуркой. Но уснуть мне не удавалось... Перед глазами возникали картины...

Идёт себе Сталин, попыхивая трубочкой, чуть переваливаясь с ноги на ногу, а они за ним, а они за ним – генералы и маршалы... Что-то такое я видел в фильме «Поэт и царь». Только там все, вместе с царем, были в бесстыдных рейтузах, и у них выпирало «что зря»...

Моя дурацкая фантазия перенесла меня в довоенное время. Однажды в «красном уголке» читала нам воспитательница сказку «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». И одна правильная девочка Вика Семёнова вдруг сказала учительнице, что гуси должны уносить только плохих мальчиков, которые показывают «что зря»... Вика при этом указала пальцем на Федьку Жукова. Воспитательница Вера Ивановна никак не могла оставить дело без последствий и начала допытываться, что, где и как... И тогда Вика, потряхивая светлыми косичками с голубыми бантиками, сказала, что Федька сделал это вчера, на речке... И еще она добавила, что Федька дал «слово всех вождей», что у товарища Сталина тоже есть «что зря»... Воспитательница покраснела, потом вытянула разбойника Федьку к доске и стала допытываться, кто его научил так говорить.

– Да никто...

Тогда Вера Ивановна послала Вику за директором. Явился кадыкастый и лысый директор и сразу с порога начал кричать:

– Говори, негодный элемент, антонов огонь, кто тебя научил?! Говори?!

Федька стоял, растирая грязной ладошкой горячие слёзы, и наконец ответил:

– Да один дяденька... там, на речке...

– Что ещё за дяденька? Отвечай, нег-годный элемент!

Федька совсем осип и охрип и пообещал директору показать этого дяденьку. Но тут вскоре началась война, и всё это кончилось ничем.

Великий вождь и Генералиссимус, а также его свита, все в мундирах и звёздах, шествуют по залу, и адъютант подаёт товарищу Сталину письма на золотом подносе.

Вождь прочитывает адрес и бросает письмо назад через плечо, а идущие на цирлах генералы подбирают. Наконец в руке Сталина оказывается мой конверт. Он распечатывает письмо, прочитывает и говорит: «Мы поможем этому мальчику». – «Но, товарищ Сталин, – говорит один из генералов, – этот мальчик, он... у него родители...» – «Это неважно, какие у него родители, мы поможем ему!» Мои видения легко перешли в сон. Рядом со мной оказывается Сталин, потом к нам подходит Ворошилов с шашкой на боку, и мы начинаем конаться для игры в лапту. Я во сне говорю, что это сон, тогда вожди исчезают, а вместо них появляется аксакал и заносит надо мной свою чабанскую палку...

– Ну что, написал? – надо мной склоняется ухмыляющийся рыжий Шурка.

– Чего написал? – не сразу сообразил я...

За окном солнечно, пожелтевшие карагачи светятся остатками листвы, и все мои ночные думы и переживания кажутся нереальными и глупыми. Тоже придумал – письмо Сталину! Да кто его будет читать?! А то закатают опять в колонию!

Шурка всё понял по моему лицу.

– Эх ты, струсил! А ещё и беспризорник!

– Да написал я, вот оно, письмо. – Я отдал ему листок.

Рыжий соорудил из него треугольник и тем решил вопрос о конверте.

– Ладно, собирайся! – скомандовал он. – Бери мои ботинки и чеши на станцию. Ничего, не спадут, обкрутишь потолще портянками и двигай. А может, с молоковозом? Хотя, стой, кажись, Ваня Ручкин собирался в Бурное. Точно. Жалко, мне не в чем идти, я бы тебя посадил на машину. А-а, пошли, авось подошвы не сотрутся...

И мы отправились на колхозный двор. Я – в просторных ботинках, Шурка – босиком.

Ваня Ручкин, красивый, с накрученным в парикмахерской смоляным чубом, был единственным шофёром единственной колхозной полуторки. Небрежный, избалованный начальством и женщинами, кумир мальчишек. От него пахло бензином, кожей и одеколоном. Он почти никогда не закрывал рот, одаривая всех подряд своей слепящей улыбкой. И взрослым, и пацанам он с удовольствием рассказывал о своих победах на женском фронте там, в Германии и Австрии. Он вернулся домой в трофейной кожанке и танкистском шлеме. Этот старый промасленный шлем он носил весной, осенью и зимой. На лето он выторговал на барахолке роскошную кожаную шестиклинку. Великолепный чуб выбивался изпод неё на левую сторону. Даже в самую жаркую пору Ваня не скидал ни кожаной куртки, ни кепки шестиклинки, они

как бы приросли к нему, благо кожа куртки была тонкая, заграничная. В довершение своей исключительности прекрасный деревенский водитель курил «Казбек» и «Герцеговину флор», не забывая сообщить, что именно «Герцеговину» курит товарищ Сталин. Наверно, у Вани были и недостатки – за что-то ведь устраивали ему дважды «тёмную» местные мужики. Да и дорогие папиросы он курил, чтобы пустить пыль в глаза взрослым, при нас он с удовольствием вертел толстые самокрутки или затягивался крепчайшим «Беркутом». И все же – спроси любого пацана, кому он больше всего завидует, каждый, не раздумывая, ответит – Ване Ручкину.

Когда мы с Шуркой вошли во двор, наш героический водитель только что вышел из правления. Он был чисто выбрит, бравый чуб блестел на солнце, смазанный бриолином или ещё чем-то.

– Чего, в Бурное? – спросил он у Шурки и покосился на меня. Тут же он вручил моему дружку заводную ручку и добродушно усмехнулся:

– Нехай садится, а ты побалуйся...

Я залез в кузов и прижался к бортам, чтобы стать незаметнее, но письмо сквозь одежду жгло тело. Я боялся, как бы меня не засёк председатель.

В кабине никого не было. Ваня, взявшись за руль, крикнул:

– Сидай рядом!

Я отказался от такой чести, уж там-то меня сразу бы заметили. Шофёр повёл бровями, и мы тронулись. Пока доехали до рынка на краю райцентра, я досыта наглотался пыли. Ваня притормозил, я слез.

Пассажирский должен был подойти что-то минут через сорок-сорок пять. По старой памяти я назубок знал и зимнее и летнее расписание движения поездов от Алма-Аты до Москвы.

Чтобы зря не светиться, я зашёл в уборную и залпом выкурил два бычка, подобранных тут же. Потом посидел на скамеечке в скверике, под сенью почти уже безлиственных карагачей.

Гудки маневровых «кукушек», запах перегоревшего угля и пыли – всё, что я видел и чем дышал, настраивало меня на знакомый лад и нагоняло тоску. Да и как иначе, если всё это было моим миром в течение стольких лет. Хотелось сесть на ближайший поезд – «пятьсот весёлый»... да неважно какой, хоть бы и скотский, и мчаться куда-нибудь на север или на юг, подальше от толстого председателя колхоза да и от Шурки с его живодёрскими замашками. Джамбул, Чимкент, Самарканд, – да мало ли куда я мог бы уехать!

Но моя дурь быстро улетучилась, и я устыдился, что так запросто готов был предать подслеповатую тетю Марусю, головастого Кольку и дорогого своего дружка Шурку.

Скорый «Москва – Алма-Ата» подошёл, но я не увидел почтового ящика. Пришлось просить пожилую тётеньку опустить моё письмецо где-нибудь по пути, подальше отсюда. Я не сообразил спросить, не в Москву ли она едет. Тётенька была седая, в старом ситцевом платье. Повертев в руках мой треугольничек, она расширила глаза и пристально взгляделась в меня. Потом улыбнулась, обнажив больные десны, и пообещала:

– Опущу, мальчик, обязательно опущу!

Машины Вани Ручкина возле базара не оказалось. Меня неудержимо потянуло заглянуть внутрь коробки, обнесённой дувалом. Здесь царствовали запахи дынь и арбузов, потной бараньей шерсти и человеческой плоти. Люди в казахской, киргизской, украинской одежде, а то и Бог знает в чём, неопределённом, кричали на все голоса, но руга-

лись только по-русски. А вот продавец маковых казнаков. У меня во рту потекли слюнки. Стоявший рядом с ним старик в чёрных очках держал на руках морскую свинку, которая по желанию клиента вытаскивала из ящичка кусок картона – угадывала судьбу человека.

– Твоя чего хочет? – спросил меня этот гадалщик.

На миг он чуть приподнял свои тёмные очки – весёлые острые глаза «слепца» охватили меня с ног до головы. Мне до смерти хотелось с кем-то поделиться своей тайной, и я быстро сказал:

– Хочу узнать, дойдёт ли моё письмо до Сталина?!

– О-о! А казнаки не хочешь?! – насмешливо и без всякого акцента спросил гадалщик, поглаживая свою свинку по шёрстке.

– Хочу казнаки! – сознался я, чуть не плача.

– А анаши не хочешь?! – совсем уж весело сказал юморист-«слепец».

– Зачем твоя смеяться над мальчик? – спросил торговец лакомствами и тут же протянул мне две конфеты. При этом его жёлтое китайское лицо расплылось, как блин.

– Хала бала, трам-тарарам! – проговорил на непонятном наречии хозяин священной свинки и вдруг протянул мне рубль...

Пора было «делать ноги». Такого и присниться не могло, что бы ни с того ни с сего меня принялись одаривать базарные торговцы, – я больше привык получать от них подзатыльники. Но едва я сделал шаг, чтобы уйти, маг притянул меня за рубашку к себе и шепнул на ухо:

– Возле пивного ларька, на выходе из базара, должен стоять человек в ковбойской рубашке с подкатанными рука-

вами, на нём кепка в клетку, приведёшь его ко мне – получишь ещё рубль...

Я с трудом пробился к выходу, но опоздал: два милиционера на моих глазах взяли «в коробочку» человека в ковбойке и повели в сторону от базара.

– Возьмёшь мою сумку и вынесешь за угол направо, там жди меня, – сказал «слепец». Он мгновенно оказался без очков и без бороды, а свинку сунул в мешок. Интересно, что китаец или дунганин-сосед, торговец казинаками, стоял с таким видом, как будто ничего не происходит, хотя мне почему-то казалось, что они из одной банды. И вдруг, не знаю отчего, мне стало весело – такой дурацкий характер. Я на секунду склонился к китайцу и пропел песню, которую мы учили в детдоме:

– Лянху ванья шони, Сталин куян шанти...

– Холосая пацана! Весёлая пацана! – расплылся торговец и, не меняя выражения, добавил: – Рви когти!

«Слепца» и след простыл. Расскажу Шурке – не поверит. Но рубль-то вот он! Я купил в ларьке пачку «Беркута», спички и с удовольствием позвякал в кармане мелочью.

Солнце в середине дня припекало вовсю. Стояла бы такая погода в предыдущие дни – и писать бы Сталину не пришлось. По обе стороны просёлочной дороги тянулась бесконечная жёлто-коричневая стерня.

– Лянху ванья, Сталин, куян шанти, – я не знал, как правильно куян или куин, и вообще пел на авось.

Вантя Сталин, куй туни, ванча чузы... Ваома, ваома, Сталин, куян шанти...

Это была песня о величии товарища Сталина, который дал всем людям счастливую жизнь. Потом я запел по-казахски: «Паровоз аркыра, кырырым дарыра аргенеште... Аи лявдетеп, аи ляв, ляв...» И ещё мог бы я похвастаться, что

знаю начало немецкой считалки или гадалки: «Вир зинген унд шпринген...»

Шурка принял мой рассказ спокойно:

– Да там каждый день ловят анашистов, скажи спасибо – не замели...

Я старался не думать о письме, но временами по моей коже проходил как бы озноб.

А через пару дней погода испортилась: зачастили нудные, как сквозь сито, дожди. Дорожные колеи утопали в глине, поэтому и Шурка сидел дома – невозможно было даже возить свёклу в заготовку на телеге. До чёртиков надоела игра в «очко» и в «буру». Кроме того, мы отработывали вариант «Птичник».

Хозяйка этого заведения тётя Нюра ухаживала за сотнями кур вместе со своей дочкой Валькой, ученицей шестого класса. Иногда эта девчонка играла с нами на выгоне в лапту или в кругового. Сама же тётя Нюра редко покидала птичник.

Иногда она прихватывала с собой корзину, а то и две с яичками, сдавала свою продукцию кладовщику, а от него возвращалась на бестарке с зерновыми отходами. Нам надо было подловить такой момент, когда яички на месте, а тёти Нюры нету дома. Мы прокрутили несколько вариантов...

– Вот балбесы! – рыжий хлопнул себя ладонью по могучему лбу. – Чего выдумывать-то?! Зайдёшь и скажешь, что тебе нужно... как это говорится, подтянуть арифметику или не знаю что... Девчонки, знаешь, какие дуры! Хлебом не корми, а дай кого-нибудь поучить, я тебе в натуре говорю... Ну, а пока вы там будете хала-бала, я набью карманы и айда...

Миновать наши окна тётя Нюра не могла, и как только она прошла в сторону правления, мы отправились к Вальке в гости. Сначала я, а Шурка должен был прийти позже.

Я постучал в окно сторожки – Валька вышла во двор. Выслушав мою просьбу, преисполнилась гордости, чем доказала природную мудрость моего друга. Меня повели учить уму-разуму. У тётки Нюры был и свой дом, но в нём жила её старшая дочка с больным мужем и маленькой девочкой. Зять птичники пришёл с фронта израненным, и его парализовало.

Чтобы потрафить Вальке, я похвалил её знание немецкого языка. Добродушно напомнил то, над чем смеялась вся школа: первый в своей жизни диктант по иностранному я написал русскими буквами. Славная Минна Ивановна, ссыльная саратовская немка, после того как все отсмеялись, прикрепила ко мне земляков-юрьевцев, а стало быть, и Вальку.

– Знаешь что, давай сначала поедим, – предложила моя маленькая учительница, придя в отличное настроение. – Хочешь сырое яичко?

Поесть никогда не вредно, а уж выпить с солью сырое яичко – думаю, что и сам товарищ Сталин не отказывается от такого лакомства.

Белый домашний хлеб, молоко. Ещё бы! Кто не знает, что тётка Нюра гонит самогон и приторговывает им. Сам председатель колхоза, по слухам, заглядывает иногда к полной и уважительной птичнице...

Валька и сама была белая и молочная, от неё даже пахло, как от молодой тёлочки. Её светло русые косички были заплетены так туго и правильно, круглый белый воротничок коричневого платица лежал так симметрично, вообще, Валька была вся из себя такая училка, что я еле-еле сдерживал смех. И ключицы у нее не выпирали, как у других девочек, потому что она каждый день досыта ела и пила сырые яйца. Она старательно произносила немецкие фразы, округляя ротик, а у меня в голове вертелись одни глупости, вроде:

«Стол – тышь, рыба – фишь, гоп штирдиртайте...» или: «Их бина, дубина, полено, бревно...» Валька попросила меня повторить всё, что она тут наговорила, я прыснул в ответ, а у неё на глазах накалились две крупные слезинки. Мне стало жалко её, и я поступил так, как, по моему разумению, должны поступать мужчины: притянул к себе её правильную головку и втянул её губы в свои... Если верить книгам и кино, то мне надо бы ждать оплеуху, но моя героиня доказала, что не только женщины, но и девчонки – существа таинственные.

– Ой! Да ты что?! – вскричала она не своим, а то ли материным, то ли ещё чьим-то взрослым голосом и уткнулась мне в грудь, но всего лишь на миг. Потом она закрыла глаза и приоткрыла полные влажные губы. Я понял, что она подражает матери или какой-то артистке кино. И тут раздался резкий свист. Я так рванулся, что Валькина головка упала с моего плеча на стол. Маленькая любительница поцелуев вскочила, увидела за окном Шурку и всё поняла. Она выбежала на улицу вслед за мной и закричала:

– Шурка – рыжий урка! Шурка – рыжий урка!

Меня она не трогала, наверно, боялась, что я всем расскажу, как мы тут с нею крутили любовь. Я успокоил её взглядом и тем, что приложил палец к губам. Валькина симпатия была мне обеспечена на веки вечные. Рыжий вспотел от напряжения: он набил яичками оба кармана и пазуху, попробуйте пройти с таким товаром.

После обеда мы отправились в соседнюю Юсуповку менять яички на папиросы. Перед тем, конечно, выпили по парочке. Остальные сдали в потребкооперацию. Шурка уговорил продавщицу оплатить нам шесть штук деньгами. К счастью, в магазине никого, кроме Тани-дурочки, не было. Убогая, моргая слезливыми глазками, прошепелявила: «Сул-

ка, дай яичко!» – и тут же выпила содержимое без соли и захихикала...

Это был первый случай за все те дни, когда я на время позабыл о письме Сталину.

Ранним утром следующего дня возле нашего домика заурчала машина Вани Ручкина. Я выглянул в окно и сквозь дождевые потёки на стекле разглядел шофёра в кожаной куртке и танкистском шлеме. В кабине сидел председатель, но он даже не обернулся в нашу сторону.

– На выход! – прокричал Ваня и побарабанил костяшками пальцев по стеклу.

– За тобой! – сразу определил Шурка. – Собирайся.

– Я возьму твою фуфайку и ботинки?

– Говорил я тебе – забегаются? В натуре, на цирлах! Постой, а чего это так быстро? Может, перехватили?..

– Ты что?! – испуганно возразил я. – Наверно, тётенька опустила его в Москве или где-то там...

На улице была слякоть. Я неуверенно топтался возле полуторки, не решаясь залазить в кузов с ботинками, к которым прицепились пуды грязи. Лицо Вани Ручкина всё время меняло выражения: то оно становилось мрачным, то на нём вспыхивало любопытство. Он потряхивал головой, чтобы смахнуть капли дождя со своего дурацкого шлема. Наконец, он подошел вплотную ко мне и негромко спросил:

– Так ты правда писал Сталину?

И чтобы показать, что не придаёт этому такого уж значения, тут же взял у меня «гвоздик», прикурил и небрежно пустил дымок.

Я молча кивнул в ответ. Ваня покачал головой и подал мне лопату:

– Почисти ноги и полезай в кузов – там брезент.

Брезент был холодный, и как только я его затронул, на меня вылилось ведро воды. Но проехали мы недолго. Глиняный спуск к реке был размыт, машину поволокло, оказалось, что с заднего правого ската сползла цепь. Ругаясь в бога, в душу, в пацанов, которые пишут свои идиотские письма, Ваня вылез из кабины и согнал сверху меня. Пока мы возились с цепью, председатель даже не посмотрел на нас.

Машина остановилась на краю Сидоровки, возле сельсовета. Председатель, не оглядываясь, кивком приказал мне следовать за ним. Ваня Ручкин сам залез в мой карман, вытащил пачку «Беркута» и подмигнул:

– Не трусь, пехота!

В комнатухе с низенькими потолками и глиняным полом за прямоугольным столом уже сидели трое: пожилой капитан МВД, директор школы Михаил Алексеевич Шерегада и председатель сельсовета, всегда полупьяный мужичонка по прозвищу, а может по имени, Гаврюшка.

Капитан был без фуражки, она лежала на столе рядом с моим бедным треугольничком. Этот человек делал губами какие-то движения, как бы примеряя слова. Михаил Алексеевич прятал в цыганских глазах смех и не смотрел в мою сторону – кажется, он боялся не выдержать и расхохотаться. Гаврюшка, помаргивая, переводил преданный взгляд с одного начальника на другого.

Меня почему-то усадили не за столом, а возле окна.

– Приступим, – сказал капитан МВД без всякого выражения в голосе.

– Да ты садись, герой, садись, – сказал подбадривающим меня тоном директор, но другие его не поддержали. Правда, Гаврюшка поусердствовал:

– Садись, понимаешь, садись, говорят...

– Твоя работа? – опять без всякого выражения, скучно спросил капитан.

Я помедлил с ответом, что они сами не видят, что моя?! И тут я впервые за этот день поймал на себе презрительный взгляд толстого председателя, он как бы говорил: «Так ты к тому же и трус!»

– Ага, моя! – как всегда в самую ответственную минуту на меня нашло игривое настроение. – Ну и что?!

– Ну и что?! – моим тоном повторил капитан и беззвучно подвигал губами.

– Надо было посоветоваться, – сказал директор школы. И, помолчав, добавил: – Надо было прийти хотя бы ко мне, хотя... – он обвёл взглядом всех присутствующих, – хотя, возможно, что я бы на твоём месте сделал то же самое.

Я понял, что вызывали меня для понта, потому что если бы хотели замести, не стали бы читать мораль.

– Посоветоваться, понимаешь, поспросать совета у старших, – спохватился Гаврюшка и тут же осел под взглядом председателя.

Слышно было, как за окном шлёпает дождик. Пирамидальные тополя почти растеряли свою листву и выглядели обиженными.

– Страна тебя воспитала? – спокойно спросил капитан МВД.

– Ну, воспитала, – согласился я, – ну и что?!

– Без «ну», понимаешь, без «ну»! – подхватил Гаврюшка.

Михаил Алексеевич спрятал лицо в ладони. С моей одежды стекали на пол струйки воды.

– Родина тебя воспитала, – начал капитан, и я уже понял, что он скажет дальше... – Воспитала, несмотря на то, что твои

родители... И ты должен быть благодарен товарищу Сталину, а ты, – капитан потряс моим бедным треугольничком.

Шурка потом спрашивал, был ли на конверте хоть какой-нибудь штампель. Может, на той стороне, которую я не видел?

– Он способный паренёк, ему надо учиться! – негромко, но уверенно сказал директор школы.

– Учиться, понимаешь, учиться, – подтвердил Гаврюшка.

Капитан надел свою форменную фуражку, сунул в карман сумки планшета моё письмо и встал. За ним поднялись и другие.

– Живой? – спросил меня Ваня Ручкин. – Дай «гвоздик», ё-к-л-м-н! Много их тут на нашу голову! Сидай в кабину.

– А он? – я имел в виду председателя колхоза.

– Пешком пойдёт, протрусится! – И, помолчав, добавил: – Они теперь обмоют это дело...

– И капитан тоже? И Михаил Алексеевич?!

– А то твой капитан святой? Да и директор... Может, он тебя и отмолил, школьный спирт – это тебе не шутка!

Вечером к нам пришёл дядя Ваня Пекарев, в застёгнутой на все пуговицы выцветшей коричневой рубашке и грубом брезентовом плаще. Когда он снял намокшую от дождя старую кепку, его голова с пушком и прилизанными остатками волос на затылке показалась мне жалкой и трогательной. Я любил этого человека, затюканного жизнью. Только он при своей многодетной семье мог выделить каморку для Тани-дурочки, свихнувшейся дочери семиреченского урядника, еще ребёнком она видела, как расстреливали её отца.

Дядя Ваня сел на табуретку и вытащил из кармана плаща кулёк «подушечек».

– Ну, сталинский крестник, рассказывай...

– Да чего рассказывать-то? – вставила тетя Маруся. – Почесали языки да и разошлись...

– Так-то так, – согласился дядя Ваня, – да и не так. Вот тебе, братец, председательское распоряжение, завтра пойдёшь в бухгалтерию. Может, ты бы, Маша, съездила с парнем в райцентр, помогла купить чего надо.

Хозяйка кивнула.

– Себе, что ли, написать Сталину, глядишь, выдадут рублей десять на махорку? – сказал дядя Ваня с легкой насмешкой.

– Да ладно тебе, дядь Вань, – вставил Шурка, – с паршивой овцы...

– А ты потише, потише, неровен час. – Конюх протянул бумажку тёте Марусе. – Ну, бывайте живы.

В ближайшее воскресенье мы поехали на станцию, Ваня Ручкин посадил мою хозяйку в кабину, а когда к нему подошёл кряжистый бухгалтер колхоза Тищенко, шофёр небрежно кивнул ему на кузов. За всю дорогу он даже головы не повернул в мою сторону. Потом он ходил и молча смотрел, как хозяйка торгуется, но не вмешивался. Денег он выдавал ровно столько, сколько стоили ботинки и фуфайка.

– Трофимыч! – взмолилась наконец пожилая женщина. – Давай купим парню хоть рубашку какую-нибудь...

– Не велено, – кратко ответил угрюмый бухгалтер. На тех же днях мне сняли квартиру в Сидоровке.

За постой хозяину заплатили арбой соломы. Правление колхоза назначило мне в качестве приварка десять килограммов муки, полмешка картошки и килограмм мяса.

...В конце февраля тысяча девятьсот пятьдесят третьего года, когда я учился в десятом классе, меня пригласил к себе

домой директор школы. Жил он с молоденькой женой, учительницей географии, в клубе. Это было обшарпанное старое здание, стоявшее возле колхозного сада. Весна выдалась ранняя, на деревьях набухли почки. Дверь оказалась открытой. Ага, хозяйюшка дома!

Директор жестом пропустил меня внутрь. Они занимали одну комнату, поделенную на три части фанерными перегородками. Высоченные потолки, ядовитая побелка – казённое здание.

Мы ели галушки, потом пили чай. Впервые в жизни я пробовал варенье – вишневое, густое. Мне никогда не доводилось сидеть за одним столом со взрослыми, и я не знал, как положено есть... Те, с кем я всю жизнь водился, громко чавкали, шумно втягивали в себя жидкость, а мясо или те же галушки брали на хапок. Пекаревы «снедали» из одной миски.

– Не стесняйся, – приободрил меня директор, – руки потом сполоснёшь. – Ты надумал, что будешь делать после школы?

– Да я хотел ехать в Москву поступать, а председатель не отпускает...

– А ты припугни его, скажи – буду писать Сталину! Шучу, шучу... С председателем я улажу, а вот как быть с документами? Хоть бы какую-нибудь бумажку тебе выправить.

– У нас учился один беспризорник, – встала Светлана Андреевна, – Отто Гансович устанавливал ему возраст, а потом как-то выбивали через паспортный стол удостоверение...

– Отто Гансович? Муж нашей Минны Ивановны? Хорошо, я сейчас ему набросаю пару слов, и ты пойдёшь в больницу.

Дождавшись очереди, я прошёл к врачу. Пожилой приземистый человек мало походил на немца: курносый, с вы-

цветшими глазами русского крестьянина, правда, у него были фиксы... Он прочёл записку и спросил, улыбувшись:

– Это вы писали немецкий диктант русскими буквами?

– Я... Но это было давно... Теперь я подтянулся...

– Подтянулся?! Так, так... Гут! Раздевайтесь. Совсем, совсем...

Я остался нагишом, а доктор без намека на улыбку осмотрел «что зря» и показал свои золотые зубы:

– Вы есть маленький грешник?!

Я покраснел и подумал: «Во даёт фриц!»

– Давно живёте с женщинами?

– Да уже три года! – гордо ответил я и неожиданно для себя добавил: – Только она не женщина, девушка...

– О! Да да, конечно! – сразу согласился доктор и засмеялся...

– Так, тридцать четвёртый год. Выходит, тебе девятнадцать? Интересно, как это он установил? Взял с потолка? – удивился директор.

Светланы Андреевны в комнате не было, может, за пергородкой?

– Говори, говори, она вышла.

– Да что говорить: заставил раздеться, посмотрел «что зря» и написал...

– Как, как?! «Что зря?!»... Это надо запомнить!

– Ну, это так говорили у нас в детдоме...

– Ладно... Я, пожалуй, сам схожу в паспортный стол.

В первых числах марта по радио зазвучали траурные мелодии, от которых волосы подымались на голове, – заболел Сталин.

У Пекаревых не было радио. О смерти вождя мы узнали от дяди Вани. Когда он вошёл, мы ужинали, хлебали из общей миски кислые щи.

– Садись снедать, Ваня, – пригласила хозяйка.

– Снедать, – рассеянно повторил конюх и, не снимая плаща, уселся на табуретку. Оглядел нас, потом нашу убогую комнатушку и негромко сказал:

– Помер, бедолага...

– Кто? Сталин? Откинул копыта?! – вскричал головастый Колька, превратившийся с годами в крепкого парня.

– Замолчи! – прикрикнула на него тётя Маруся. – Отмучился, царство небесное... – И закрестилась в угол на икону Божьей Матери.

– Да какое царство, мамка?! Сама говорила, чтоб он сдох, а теперь царство?! – Колька отшвырнул ложку и выбежал из комнаты.

– Вот глупый мальчишка... Ваня, что же это будет, а? Шурка-то в армии... Война не развяжется? Все ж таки какой никакой, а Сталин...

Дядя Ваня, глядя в пол, помолчал, потом усмехнулся:

– Э-э, сестра! Была бы шея, ярмо найдётся. – И неизвестно к чему добавил: – Всяк Иван за свой карман. Ну, бывайте...

Недели через три, когда на деревьях зазеленели листья, мы сидели на брёвнышках возле школьного садика. Было тепло, солнечно, пахло свежей клейкой зеленью. На вечер у меня было назначено свидание с той самой «девушкой». Я наконец понял, чему так смеялся фиксатый немец доктор. Мы с одноклассниками курили, когда к нам подошёл секретарь комсомольской организации школы Генка Мызин, высокий фраеристый парень. В руках у него была газета. Он уселся на бревно, закурил и стал читать передовицу. В ней приводились слова американского президента Эйзенхауэра. Я не услышал начала, но вот Генка прочёл: «Со смертью Иосифа Сталина окончилась эра. Советская империя...» –

у меня мурашки пошли по коже, и тут чтение прервалось – к нам приближался директор школы.

– Что читаем?! – как всегда насмешливо спросил он. – Мызин, вытащи папиросу, сгоришь!.

Генка покраснел и отбросил в сторону погашенный в кармане окурок.

– Та-ак!

Михаил Алексеевич пробежал глазами начало статьи, нахмурился и стал внимательно вглядываться в каждого из нас. Вот его цыганские глаза остановились на моем лбу, и он не то спросил, не то сказал:

– Так ты говоришь «что зря»? – И пошёл восвояси. Ребята с изумлением смотрели ему вслед...





СТАРИННЫЙ МАРШ

Рассказ

Карты. Преферанс. Ничего лучшего в моём положении нельзя было придумать.

– Рас-кроемс-ся! – мурлычет мой сосед, глядя на майора, сидящего напротив меня. Он, мой сосед, в спортивном костюме, моложав, чувствуется, привычен к дороге и к жизни, что-то есть в нём обкатанное, неопределённое.

Они кладут карты на стол – теперь ясно, что я проигрываю. Это естественно, я никогда не выигрывал в карты. В другие игры тоже. Даже те, кто садился со мной в паре, были обречены на самые фантастические расклады. Чертовщина!

– Д-да! Преферанс не школа гуманизма, – открыто говорит майор, довольный свежестью своей мысли. Он потирает мясистый нос, улыбается во весь свой большой рот, обнажая верхний ряд стальных зубов. Этот добродушный вояка только что принёс из вагона ресторана очередную бутылку водки, а пивом уставлен весь наш столик.

Поезд проносится мимо полустанка, и мы успеваем проводить глазами плакат, прибитый или пришпиленный к приземистому бревенчатому зданию: «Да здравствует День Победы!». Справа и слева огромные цифры «25».

Я смотрю на этот плакат, на деревья, ещё лишённые листьев, на грачей, колдующих над строительством жилищ, и в моей туманной голове глупо рифмуется: «Грачи-врачи...»

Неопределённый вытаскивает из кармана два рубля и кладёт рядом с майором, глядя на меня со значением. Там же лежит ещё и трёшка. Конечно, я обязан внести свой вклад, но у меня нет денег, я делаю вид, что не догадываюсь, занят картами, мне есть о чём подумать – проигрываю...

Когда-то в комнате институтского общежития я просиживал ночами, постигая тайны преферанса. Мы расписывали «пульку» на ватманском листе, а «подбивали бабки», то есть подводили итог и рассчитывались, в день стипендии. Но азартный человек никогда не научится этой игре, даже если постигнет тайны ремесла. Надо уметь терпеть. Я должен благодарить судьбу за то, что в нашей комнате жили грузин и азербайджанец – Рауль и Акиф. Они точно соревновались друг с другом – кто рискованнее. И хотя я постоянно проигрывал сам по себе, благодаря их проигрышам оставался даже в плюсах. Кавказцы устроили сборный пункт на Центральном телеграфе. Те дни, когда они получали переводы, были для нас праздниками. Рауль так и растаял в неизвестности после первого же семестра, когда он не сдал даже зачёты. Акиф благополучно окончил институт, этот к концу стал профессиональным игроком.

Еще один полустанок с плакатом. Когда за окнами вагона проплывают домишки станционных посёлков, видно, что люди празднуют, веселятся по-сибирски широко. Несмотря на дождь со снежком, одеты они не в шубы и пальто, а в плащи, костюмы – все на подогреве.

Весна задержалась, по небу неслись драные тучи, да с такой скоростью, что наш поезд казался тихоходом. Вот на перроне парень с девчонкой, простоволосые, хохочущие, машут нам вслед и тут же обнимаются, прижимая губы к губам, на виду оно слаще!

А потом опять деревья без единого листика, черные недостроенные гнезда грачей и сами эти грачи, в суматохе, безмолвно для нас кричащие о чём-то своём, птичьём, устраивающие свои весенние семейные делишки.

В голове у меня такая мешанина, такой птичий базар, прошлое и настоящее так смешалось, что сам Господь Бог ногу сломит. Сердце покалывает после ночных бдений и возлияний, и я не отказываюсь от очередной порции водки – надо расширить сосуды...

Это мальчик трёх лет сидит на подоконнике второго этажа или это я, тридцатипятилетний, еду в поезде «Москва – Владивосток»? Год назад исключили из Союза писателей Солженицына, я тогда послал ему телеграмму с уведомлением: выразил преклонение перед его великим талантом... Жизнь моя после этого сразу же усложнилась. Мальчик сидит на подоконнике второго этажа. Света в комнате нет, но тьма неполная, уличные фонари помогают различать предметы и их тени. Внизу, затопляя улицу и тротуары, течёт вода, целая река, а дождь продолжает хлестать косыми струями по жестяному карнизу, где так любят гулять в солнечные дни воркующие голуби. Внизу, под окнами, кусты сирени и скамеечка, мальчик не раз сидел там с мамой. Сейчас он притих и притаился, чтобы не услышали взрослые и не отправили спать. Хочется, чтобы вода поднималась, подбиралась к подоконнику, к нему, чтобы дождь хлестал всё сильнее и шумнее, заглушая все звуки на свете: сладко знать что-то такое, чего не знают взрослые! Посторонних звуков не было, они появились вместе со слепящими автомобильными фарами. А дальше – точно в старом фильме потеряна промежуточная часть: он стоит, держась за руку пожилой женщины, она всхлипывает. Перед ними знакомая

дверь, но теперь на ней красный сургучный кружок. Матери с отцом за этой дверью больше нет и не будет. Зато сколько раз этот красный сургуч будет разрастаться до размеров солнца при его затмении – в детских снах и грёзах...

Временами тучи проносятся на восток, выглядывает солнце, все мы смотрим в окно, потом снова выпиваем и закусываем.

Кто-то из троих, сидящих в купе, – я, четвертый, молчу, – без всякой связи затевает разговор о войне. А может, связь есть, может, это продолжение, разве я в состоянии уследить за своими мыслями и чужими словами.

Сердце больше не колет. Внутри горячо. «Грачи, врачи...»

Большое село в Курской области. Лес, речка, луг. В «красном уголке» детского дома нам показывают знаменитый фильм «Если завтра война». Ну наши дают! Тра-та, та-та-та-та! Трах-тара-рах, та-ра-рах, тах-тах! «И линкоры пойдут, и пехота пойдёт, и помчатся лихие тачанки!» А когда белое полотно убирают и зажигают свет, мы видим на стене огромную картину – Клим Ворошилов стоит, облокотясь на шашку, и держит в поводу вороного коня с перевязанными передними ногами.

...Наш обоз тащится по степи, и среди бела дня из-за леса вылетают три немецких «мессера» и пикируют прямо на нас. Лётчик одного из них ухмыляется и целит в меня, я зарываюсь лицом в выгоревшую траву, но слышу, как наш худой очкастый воспитатель кричит, простирая руки кверху: «Что вы делаете? Здесь же дети?!» Я поднимаю голову – и снова на меня пикирует ухмыляющийся фашист. Село, возле которого это происходит, называется очень смешно – Курица.

...У подножий Тянь-Шаня среди прелой прошлогодней ботвы мы выискиваем стручки сои или бобов, и вне-

запно к нам подкрадывается объездчик дунганин на своём небольшом складном коньке. Он поднимает руку с камчой, и у меня в мозгу зарождается песня «Вставай, страна огромная!». «Вставай!» – и короткая плеть опускается мне на спину. «Страна!» – и камча прилипает к спине моего дружка Вовки Малахова. Потом, во сне, я долго пытаюсь убежать от объездчика, но непросохшая суглинистая почва не отпускает ноги, и я падаю на землю.

А где-то через неделю сыпняк уложил нас с Вовкой «валетом» в одну постель: эпидемия, мест не хватает. Однажды ночью я пришёл в себя, оттого что мой друг больше меня не греет, он как-то странно вспотел. И в тот же миг из-под окна, за которым стоит голый карагач, отрывается огненный шар величиной с футбольный мяч и несётся, шипя и разбрасывая искры, в проходе между двухэтажными кроватями. И когда он с треском ушёл в противоположную стену, я понял, что друг мой умер. Огненная душа ушла из него.

«Грачи, врачи, молчи...» – добавляется ещё одно слово к бессмысленной рифмовке.

– Играть надо! – говорит майор и скандирует: – Иг-рать на-до! Иг-рать на-до! – рот у него до ушей. Наверно, он любитель хоккея и так же по-детски кричит: «Шайбу! Шай-бу!».

В ответ я неудачно усмехаюсь.

Рауль, где ты? Мой грузинский друг был красавцем, но закомплексованным, особенно в пьяном виде. Кто-то вроде бы видел его на Дорогомиловском рынке с цитрусовыми. Думаю, это ошибка. Раулем звали сына Атоса! И мой Рауль не мог опуститься так низко... Сейчас он бы заказал мизер и взял весь мой проигрыш на себя!..

Мимо нашего купе проходит мордатый хахаль. Он на миг останавливается, заслоня своей широкой грудью громоздкого

старика-бородача, который ведёт долгую неторопливую беседу с нашей попутчицей, рябой и рыжей бабой, соседкой майора. Она и выпивает, и вообще держится на равных с мужчинами. В руке у деда большая красная бутылка, он как бы дирижирует ею, делая время от времени глубокие хлюпающие глотки.

Лица у всех красные, а у майора багровое. За перегородкой подстраиваются под радио и поют «Землянку», за другой переборкой затягивают фирменную сибирскую – «Бродягу», а у самого дальнего от нас купе, где обосновалась молодёжь, бьют по гитарным струнам и дружными открытыми головами кричат: «Ах, Надя-Наденька, мне б за двугривенный в любую сторону твоей души!».

Мордатый хахаль стоит, смотрит на меня и презрительно усмехается: «Глянь-ка на этого хмыря! Сидит как путящий! А не возьми я тебя?!»

– Да вот пимы-то, пимы, – рябая соседка майора, приняв стопку и вытерев ладонью губы, кивает на нашего вояку и говорит деду: – В пимах-то, говорит, пролежал ночь под танком и хоть бы тебе хны! Дак! Я-то их катала... ох и катала в Бийском, на трудовом фронте! Да ещё енти, охвицерские, с отворотами! Чего ж не лежать, а?!

Добродушный майор соглашается.

За окном деревья и грачи с широко раскрытыми клювами становятся всё туманнее. «Грачи, врачи, молчи...»

– Оба, однако, краболовы, – теперь дед рассказывает собеседнице о своих сыновьях.

Майор расстегивает уже вторую пуговицу на гимнастерке. Бурая шея обнажается полностью, и на ней ближе к ключице след от ранения. Неопределённый попутчик в спортивной форме как бы за компанию оттягивает воротник своей куртки.

Где я видел человека, похожего на майора? У того и зубы были вставные. Да, вставные, только... только у надзирателя детской колонии были фиксы, полон рот золота! Он также носил китель, но без погон. Зубы ему выбили блатные, устроив тёмную. После этого он с ними подружился: отпустил на добычу в Чимкент, а потом взимал с них дань. Некоторые из них предпочитали слякотную зиму пересидеть под крышей Первомайки... Он ухитрился занять жену, или «маруху», лет на двадцать моложе себя, почти девчонку, правда, битую жизнью. Говорили, что он спас её от тюрьмы. Пристроил кастеляншей, и она его прекрасно отблагодарила: тайком обучала искусству любви старших колонистов.

Она была похожа на французскую королеву, какой та мне виделась в романах Дюма.

Перед выходом за ворота мы с Карабалой зашли к ней расписаться за тряпье, в котором освободились. Кастелянша стояла посреди комнаты, и белые колдовские волосы струились по её плечам. На ней была белоснежная гипюровая кофточка и серая юбка под цвет туфлей-лодочек. Недаром, когда Романист рассказывал по ночам воровской роман «Белый ужас» – покоритель мужских сердец, мне представлялась она. Уж как они уживались в моём воображении – королева и блатная «маруха» в одном лице?! – одному Богу известно...

Но тогда, на прощание, я не успел ею налюбоваться, потому что увидел за её спиной, на столе, огромную миску, с украинский тазик величиной, она была заполнена до краев растопленным маслом, в котором плавали вареники. У меня закружилась голова, и я схватился за притолоку, чтобы не упасть. А мой бедный друг Карабала, как лунатик или потерявший разум, пошёл к столу, взвизгнув или всхлипнув

по-собачьи... И тогда поднялся надзиратель, сидевший в распахнутой гимнастерке, и, ухмыляясь всеми фиксами, надал моему приятелю по затылку: «Давай, давай вымётывайся!»

Провожавшие меня в Новосибирске однокашники по институту ввалились вчера среди ночи в мой номер гостиницы, и мы проговорили до утра. Потом они просили подождать часок-другой, пока кто-нибудь достанет денег, и я спокойно двинусь дальше. Дело в том, что мы заканчивали нашу встречу и празднество 25-летия Победы в при вокзальном ресторане и совсем позабыли, что там и цены ресторанные. Я согласился ждать, но тут на перрон влетел скорый «Москва – Владивосток»... Моё ретивое не выдержало – даром, что ли, мы всю ночь вспоминали вокзалы, базары, «пятьсот весёлые» поезда?!.. Авось!..

Беленькой румяной проводнице очень шла её форма, это придавало ей уверенности в себе. К тому же она была не одна, с хахалем, да и слегка подшофе.

– Ну, чего тебе? – небрежно и с хрипотцой спросила она, шмыгнув с бабьей пресыщенностью по моему худому заросшему лицу и убогому плащику.

– До Красноярска, – теряя надежду, сказал я.

– До Красноярска – червонец! – надо мною навис мордатый, стриженный ежиком парняга лет тридцати. Он был в одной ковбойке.

Я кивнул, соглашаясь. Авось, авось... Ещё раз прошёлся по коридору мордатый хахаль и опять наделил меня презрительным взглядом. А этот, кого напоминает мне он? Всё подобья, подобья, не так уж много разновидностей людских в нашем милом отечестве...

Надзиратель детской Первомайской колонии – злая карикатура на добродушного майора со стальными зубами.

А этот... Если добавить ему лет пятнадцать, то получится Кочнев, управляющий отделением совхоза, куда я попал после Москвы. Врачи запретили мне жить в большом городе, отправили «на природу». Волейбольная команда, художественная самодеятельность, благо я сам играл на баяне, – это были мои обязанности как секретаря комсомольской организации, а работал я почтальоном или курьером. С утра седлал серого жеребчика и отвозил на центральную усадьбу совхоза документы, оттуда привозил так же кучу всяких бумаг... В одном из домиков была у меня небольшая комнатуха.

Свёклосомена выращивали сезонные девчата из глухих деревень. Считалось, что они вербованные, хотя и уговаривать никого не приходилось. Здесь паспортизация, в четырёх километрах районный городишко, а в двух – солдатский городок! Чего ещё надо в девятнадцать-двадцать лет. Жили они в бараках, скученно, не очень-то чисто. Им могли недоплатить, вычесть больше, чем положено, за питание... То и дело девчонки бегали мне жаловаться. А чем я мог им помочь?..

Однажды утром ко мне чуть свет приплелась зарёванная Танюшка Скрипникова, невзрачная, безбровая. Глотая слёзы, она рассказала, что вчера её оскорбил и даже ударил управляющий.

Глаза у нее были светлые, даже просвеченные, слёзы крупные, неумело подкрашенный рот кривился по-детски.

– Прямо таки и ударил? – пошутил я.

– Если ты будешь смеяться, то я пойду в райком комсомола...

Она стояла в пыльном палисаднике, прислонясь к топольку, и было ей от силы девятнадцать годочков. Ситцевое платье, какие-то сандалеты на босу ногу, у меня сжалось

сердце – она напомнила мне наших детдомовских и беспризорных девчонок-заморышей.

– Ладно. Говори всё, как было.

Кочнев не захотел её выслушать, когда она стала жаловаться, что ей недоплатили за прополку свёклы. Он пробурчал: «Разберёмся». Тогда она напомнила ему, что в прошлом месяце было то же самое, и тогда он тоже обещал разобраться. Они с девочками собираются жаловаться в центральную контору.

– Ах, жаловаться?! – мордатый управляющий надвинулся на девочку и, то ли шутя, то ли, чтобы припугнуть, прижал её своим пузом к стене.

– А ты уж и пуза испугалась?!

– Да, тебе смешно... Пузо-то у него железное, чуть не раздавил, зараза! Ну я и обругала его дураком. Тогда он меня ударил по лицу и назвал на букву «б». А какая я «б»?! Он что меня за ноги держал? Я, может, скоро замуж выйду!

– За солдата?..

– За кого захочу, за того и выйду, хоть бы и за тебя! – И вдруг разревелась: – Если я вербованная, так сразу и «б», да?!

В тот же день, дождавшись, когда управляющий остался один, я вошёл к нему и попросил извиниться перед Скрипниковой.

– Что-что?! Извиняться перед каждой подстилкой?! Иди-ка ты, парень, на работу. Почту отвёз? Нет, вот и поезжай, а то запишу прогул.

– Я с вами не шучу...

– Ну, навязался! Тебе что – мячик дали? Дали... Сетку купили? Купили. Может, за амортизацию баяна доплачивать, так это мы можем... В общем, иди, комсомол, гуляй, не до тебя...

И я стал копать против него. Выкопал трёх жён, причём у всех были дети; подпольную ферму на двенадцать коров; делишки на складе... Сезонные девчата поддержали жалобами. Меня объявили кляузником, исключили из комсомола. А через месяц областная молодёжная газета написала статью «Честь смолоду», где до небес преподнесла мою принципиальность и так далее... А ещё через месяц моего противника сняли с управляющих, чтобы тут же назначить директором маслозавода в райцентре!

– Ну что, друзья, распишем «пулечку» или сходим в ресторан, а потом продолжим? – спрашивает майор.

– Пора подбивать бабки, – ответил ему неопределённый сосед. Майор вопросительно смотрел на меня, но я молчал. Расписывать «пульку» – значит расплачиваться, а чем?..

И тут в дверях показался мордатый вместе со своей кралей.

Грабастой ладонью он как бы выгребал меня в коридор... Дед, оставив на полу уже вторую красную бутылку, ушёл в свое купе, а рыжая баба похрапывает на второй полке – раскинулась, как пришлось, на голой деревяшке.

– Платить собираешься? – басит мордатый.

Краля-проводница, похожая на королеву-кастеляншу из моей детской сказки, поигрывает своими светлыми локончиками. Я вижу её нежную шейку, поросшую пушком, и не вовремя усмехаюсь: шейка-то грязновата!.. Да и в ушах, маленьких и красивых, как аккуратно слепленные вареники, в этих ушах с висюльками, почти упрятанных в локоны, тоже частицы сажи. Я её не обвиняю: дорога дальняя, тяга паровозная, – и всё же мне становится веселее!

– А если ревизор? – отвечаю я мордату. – Ехать-то ещё! Ты с меня сдерёшь, а они высадят, а?..

– Не твоя забота! – кратко и по делу отвечает парняга и слегка нажимает на меня своим твёрдым плечом. Глаза у него тёмные, с коричневатой желтизной. Сейчас зрачки суживаются, и он добавляет: – Пересидишь в гальяуне! Или в ресторане, ты ведь у нас денежный! Гля, сколько выиграл! – Он кивает на свёрнутый лист – мой проигрыш, что-то около двадцати рублей...

– Та-ак! – майор потирает руки с выражением прекрасно исполненного долга и кивает неопределённому: – Теперь и подзакусим, а?!

Они проходят мимо нас. Возле тамбура добряк майор оглядывается и не то, чтобы кивает мне, а как бы вопрошает, мол, мы бы и тебя взяли, да ведь ты не свободен, у вас там дела?..

Я опустил голову долу. А когда поднял её и взглянул в направлении ресторана, моих соседей не было видно – вместо них показался и стал быстро приближаться человек в сером тесном костюме. Одежда была явно только что из магазина, но не по его широченным плечам. Вот он, размахивая руками и вразвалку, прошёл мимо купе проводников и стал виден весь: на правой щеке глубокий шрам-воронка, седующий боксёрский чубчик и сведённые к груди, как бы сдавленные, плечи. Дело не только в узком костюме, это человек «оттуда», где приходится сжиматься и суживаться... На обеих руках – часы. Взгляд – сквозь людей и предметы.

– Так ты собираешься платить, падло?! – мордатый теряет терпение, его ладони сжимаются в кулаки. И тут к нам подошёл человек «оттуда». Он не остановился подле, а продвинулся чуть дальше, чтобы пристроиться у окна рядом с кралей. Она подёрнула плечиками и отошла к своему купе.

Услышал ли человек в тесном костюме, о чём мы говорили, или что-то понял по выражению моего лица, – не знаю:

он смотрел в окно, на тёмные деревья, на размытых в сумерках грачей. Он явно прислушивался к нам. Мордатый для приличия помедлил и тоже снялся с якоря.

– Ну, чего они до тебя вяжутся? – спросил, подойдя ко мне, человек, напугавший мордатого.

В это время в вагон вошли солдаты из ресторана. Они галдели и смеялись. У некоторых в руках были бутылки пива, а один, с баяном, пытался подыграть мелодию «славянки», звучащую по радио. Но ему не удавалось подстроиться. Судя по манере, он был гармонистом, привык обходиться без полутонов и теперь фальшиво и жиденько выводил своё «тирли-тирли».

Мой новый знакомый махнул рукой:

– Не умеешь, керя, не берись! – И повернулся ко мне: – Сколько ты им должен, этим пороссятам?.. Хотя ладно, пошли в ресторан.

Краля-проводница со своим хахалем смотрели нам вслед, и я спиной чувствовал их злобу и трусость. Возле крайнего купе мой провожатый остановился и дослушал мелодию старинного марша до конца. На щеках у него выступили бисеринки влаги...

Пока мы шли с ним через три вагона, открывая и закрывая двери тамбуров и рассекая группы людей в проходах, всё это время я видел перед собой широкую спину, сдавленную узким серым костюмом.

Шёл пятый месяц моей жизни на Севере. Полярная зимняя тьма, к тому же ночная смена, – мой организм с трудом привыкал к необычному режиму. И всё же я втягивался, притирался к работе, к быту.

Поднимаясь из шахты на поверхность, я провожал взглядом зеков, уводимых конвоирами, смотрел мельком на дымя-

щиея терриконы и отправлялся в душевую. Там яростно натирал своё тело мочалкой, пытаясь избавиться от вездливой угольной пыли. Переодевался в чистое, и мне оставалось только пересечь двор, чтобы оказаться в шахтной столовой. Там готовили сытные борщи, настоящие свиные котлеты, а на запивку давали вишнёвый компот. Перед едой шахтёры-вольняшки и расконвоированные всяк на свой манер выпивали спирту: один любил глотнуть граммов сто чистого продукта, другой предпочитал развести алкоголь с водой, а иные ухари, особенно из молодых вольняшек, смешивали спирт с пивом или даже со столовым вином. Водку сюда завозили только по праздникам, да и то зелёный вологодский «сучок». Что до меня, то я, если и выпивал, то в меру... Но в тот день обстоятельства заставили причаститься смесью спирта с пивом. Я оказался за одним столом с людьми, которые, «отмотав срока», освободились подчистую и решили напоследок отметить это событие. Я чувствовал себя не в своей тарелке, чуть ли не самозванцем: их радость и богатырство были куплены страданиями, а я, салага, ни к чему на свете не приткнутый человек, с психологией не зека, но и не свободно-го, – что значил я, какое право имел сидеть с ними за одним столом?! Мой сосед, пожилой шахтёр, наливая своим товарищам из правой бутылки спирт, а из левой пиво, спросил:

– Примешь?..

Я поспешно кивнул. Тогда самый молодой в компании, разглядывая мой «горняцкий» китель, спросил:

– Студент?..

Я опять кивнул, хотя этот вопрос был мне неприятен.

– Откуда? – поинтересовался третий.

– Из Москвы, – ответил я и почувствовал, как адский напиток забушевал внутри, пронзая все жилочки.

«Идиот! – мысленно выругал я себя. – Надо было ещё в Москве спорить эти чертовы контрпогончики, старшесурсники давно от них отказались». Вспомнилось, как мы шагали по Красной площади на Седьмое ноября и горланили: «Шахтёры – гвардия труда!»

Я опьянел после второй порции и, чтобы показать свою дурь, понёс какую-то чушь... Сначала я рассказал, что в тридцать седьмом у меня забрали отца и мать... Потом похвастался, что я тут зарабатываю характеристику, чтобы восстановиться в институте...

И тут до меня дошло, как всё это выглядит со стороны! Боже, боже! Пожилой шахтёр, видно, поняв моё состояние и как бы успокаивая, сказал:

– Да, парень, досталось тебе...

Молодой усмехнулся, а ещё двое отвели глаза в сторону, им было неудобно за меня. Я не доел котлету, не стал пить любимый вишневый компот, попрощался с ними. При этом пожилой крепко пожал мне руку и укоризненно взглянул на своего молодого товарища, который не смог сдержать ухмылки.

Я не стал дожидаться попутчиков – так мне было стыдно. Едва удалившись от шахтного двора, я снял шинель и с отвращением стал отрывать от кителя эти проклятые погончики. Оторвал и затоптал в снег...

Раньше дорога от шахты до посёлка не доставляла мне хлопот, тем более что под рукою был канат на случай пурги.

Сейчас ветерок с Карских ворот дул слабыми порывами, мела лёгкая позёмка. Я шёл, держась за канат, и вдруг, под влиянием своего настроения, решил как бы бросить кому-то вызов. Короче, я срезал и пошёл через тундру напрямик.

Жизнь – шаблон: я заблудился, не отойдя и километра от спасительного каната. Разыгралась пурга, да такая, что

в десяти метрах ничего не было видно. Я вспоминал, что с самого начала ветер с Карских ворот дул мне в спину, но не прямо, а чуть сбоку, но вот с какого боку?..

На ногах у меня были старые унты, на голове также старая шапка – этими вещами одарил меня товарищ по шахтному общежитию в день, когда получил право на выезд. Сверху, как я уже сказал, была злополучная шинель, а под нею – форменный китель, теперь уж без погончиков. Вообще, видик был экзотический. Да ещё под кителем – рубашка с пуловером, который я купил в Воркуте. Ходячий кочан капусты! Да ещё и не простой, а цветной...

Говорят, что замерзающий видит напоследок тёплое лето, родных и друзей, – я помнил некрасовский «Мороз, Красный нос», – но ничего похожего со мной не происходило. Я пробудился оттого, что объездчик дунганин опустил камчу на мою спину под звуки громового гимна: «Вставай, страна огромная!» Потом на меня стал пикировать немецкий лётчик в степи возле села с трогательным названием Курица... И только королева-кастелянша нарушала этот ряд, да и то до тех пор, пока из-за её гипюровой спины на меня не надвинулась миска с плавающими в масле варениками...

«И это всё?! – сказал кто-то внутри меня. – И вот так подохнуть в тундре?!» Я зарычал или заплакал от злости и вскочил, но ураган тут же сбил меня с ног. Тогда я пополз, хрипя и задыхаясь, и тут увидел впереди огонёк. Он вспыхивал и размывался, и я полз и полз к нему. Я весь взмок, потом как-то потерял шапку, вернулся за нею, надел и завязал тесёмки.

Не знаю, как и когда я отключился. Очнувшись, увидел, что лежу на старом топчане в каком-то жилище. Меня растирал что есть мочи истощённый мужик лет пятидесяти.

– Оклемался? – прошамкал он. Меня поразил его беззубый рот. Он сидел в ватных штанах и в шерстяной кофте с глубоким вырезом, обнажавшим его впалую грудь.

– Фух, как из парной вылез! – усмехнулся он. Перед топчаном стояло эмалированное ведро со снегом.

– Ну, парень, силён твой Бог! Считаю, час тут над тобой угробляюсь... И чего это тебя понесло через тундру?! Жить надоело?..

– Х-хотел спрямить, – проямлил я.

– Чего, чего?! (Сефо, сефо?!) Слышь, мать, этот чудик решил спрямить тундру, Сочи ему здесь!

– Да будет тебе, оставь парня... Собери лучше на стол. Живой, и слава Богу!

– Пиши Ваську нашего в святцы! – усмехнулся беззубый хозяин, выставляя на стол бутылку спирта и закуску, – кабы Васька не уссался, спать бы тебе вечным сном в тундре... Уж она бы тебя спрямила – это точно! Ньюра, топай сюда с Васькой...

Женщина вошла на минутку и сняла с верёвки пелёнку, висевшую над плиткой. Невысокая, скуластая, с тёмным лицом, она так мне улыбнулась, что я едва не заплакал, хотя у меня и так текло по щекам.

– Сейчас придём, начинайте, – весело сказала она. Тут я заметил, что сижу во всём исподнем, в хозяйском, и кинулся к своей шинели, которая вместе с остальными моими тряпками висела на спинке стула возле печки.

– Пошто стыдишься? – спросила женщина, садясь за стол с сыном на руках. – Вот он, крестник-то твой, поскрёбыш-то наш!

Она заметила, что я опустил глаза, и угадала мои мысли.

– Думаешь, старики, а с дитём?! Я и говорю: наскребли по сусекам! Сорок лет – бабий век?! Да на что мне это знать? Я что, хуже других, не баба, что ли?! А и сорока-то ещё

нет, вот, парень! – И поправила косынку на седеющей голове. – А мужику моему, Андрею, сколько дашь?

– Сорок пять... – я, конечно, пожалел его.

– Скупишься, парень, давай уж пятьдесят: видишь, ни одного зуба, да и голова вся облезла...

– Ладно уж тебе! – проворчал хозяин.

– Чего ладно?! Чего ладно?! – всхлинула женщина. – Чай, он-то годок мне, а?! Ну, ладно, не буду, не буду! – ласково попросила захныкавшего сынка. – Цинга... Да ещё эта... как её?

– Пеллагра, – прохрипел хозяин.

Я ничего не мог говорить. Мне было стыдно и за свою дурь в столовой, и за свои прежние многие дури – чего только стоили наши детдомовские песенки о Сталине... А разве я не плакал, когда «усатый» испустил свой гнилой дух?!

Васька тянул свои пухлые ручонки к моим мокрым патлам и дёргал их к себе.

– Так его, сынок, так! Чтобы знал Север, не спрямлял тундру, – смеялась счастливая мамаша. Как она укачивала своего беззубого поскрёбыша, похожего на отца! Как она смотрела на него, эта седая женщина! Запах мокрых пелёнок, крутой детский дух – дух добра и печального жилища – был для меня сладок и горек одновременно.

История хозяина была проста и типична: в сорок первом попал в окружение, оказался в немецком концлагере, а в сорок пятом его освободили наши – дали свободу, чтобы тут же её отобрать. Она же, дочь двух врагов народа, отбарабанила свои пять лет. Они могли бы уехать – освободились подчистую, но что-то их тут держало...

Я не мог понять, отчего спина моего нового знакомого в поезде «Москва – Владивосток» напомнила мне узкую спину северного зека...

Майор с напарником сидели за соседним столиком, и неопределённый попутчик косился в нашу сторону.

Мордатый с кралей стояли у стойки буфета и что-то говорили человеку в железнодорожной форме, кивая при этом на нас. Может быть, эти трое искали повод проверить у нас документы?

Борис, так звали моего спасителя, подошёл к буфету и даже нарочно задел плечом мордатого, а потом, не обращая внимания на кралю и железнодорожника, взял водки, пива и бутербродов.

Благодарный ему за всё, я как бы подумал вслух:

– Солдат не умеет играть, мне бы тот баянчик! – и тут же спохватился: «Что ты буровишь, идиот?! Какой баянчик, когда ты десять лет не играл...»

– У тебя ксивы... ну, документы в порядке? – спросил Борис.

– Документы?

Я почувствовал, что краснею. Кажется, он принял меня за своего, «от хозяина», а я... а что я?! У меня в кармане, кроме паспорта, ещё и писательский билет, но... меня исключили из членов Союза, правда, на полгода, но исключили... Нет! Об этом говорить нельзя, я вспомнил свою давнишнюю воркутинскую болтовню в столовой...

Я промолчал. Борис переспрашивать не стал.

– Так я возьму баян, сыграешь? – Он кивнул в сторону солдат, входивших в ресторан со своей музыкой.

Чёрный и узкоглазый держал в двух пальцах железный рубль и обращался к тому, что с баяном. А этот, высокий, с растрёпанными светлыми волосами, держал инструмент в правой руке так, что баян провисал до пола, открывая взору

розовый мех. При этом высокий парень шарил рукой у себя в кармане и ничего не нашаривал.

Борис пригласил их к нашему столику. Они отнекивались, но он легонько подталкивал высокого ко мне.

Баян был «Тульский», но не тот – белый и малосерийный, тяжёлый, на котором я играл в последний год своей работы в Доме культуры, зато у этого, дешёвого, массового, наверняка есть и свои преимущества, он легче, на нём не так заметна фальшь в случае чего...

Я прошёлся по голосам, тронул басы, соединил те и другие. Прогнал «простую гамму».

Почти все, сидевшие в ресторане, повернули к нам головы и ждали. Борис смотрел на инструмент, и губы его шевелились, несколько раз он непроизвольно прикоснулся к своему шраму-воронке. Солдат-баянист ревниво следил за моими пальцами, ожидая, получится ли; кажется, ему хотелось, чтобы не получилось, тогда бы он сам что-нибудь сыграл гармошечное, бойкое... Кто тут станет докапываться, берёшь ты полутона или нет.

А я искал и находил. Нет, не я, пальцы сами соображали, что и в какой последовательности брать.

...Жена Бориса ждала ребёнка. Как это бывает в сельских клубах, после кино на танцплощадке завязалась драка между местными и пришлыми парнями из-за девчат. Ему бы отойти, да и жена не пускала, выпячивая живот.

– Да кабы я был трезвый, а то... Поверишь, сроду не держал в руке ни ножа, ни кастета, а тут, когда он пырнул меня... вот сюда, видишь... взвыл я от боли, ну и вырвал этот самый нож... вырвал да и отмахнулся. Так отмахнулся, что загудел на пятнадцать лет... Ну зачёты, потом амнистия... Кого она родила, зараза?! Хоть бы словечко!.. Я ж

тоже человек! – он размазывал по щеке слёзы, отвернувшись к окну, за которым уже не было видно деревьев.

– Восемь лет! Ты представляешь, что это такое?! Да ведь ребёнок в школу ходит!.. Слушай, рубани ещё «Славяночку»!

Я заиграл, но мой рассудок в этом не участвовал.

Я видел и слышал духовой оркестр ремесленного училища. И было это в эвакуации, на стыке Киргизии и Казахстана, у самого подножия Тянь-Шаня. Тогда, в День Победы, все повыходили и повыбегали из своих домов и халуп, из госпиталей и бараков. Казахи, киргизы, дунгане... Корейцы, немцы Поволжья, чеченцы и карачаевцы, которых сослали сюда в сорок четвёртом... И все эти и другие люди – больные и здоровые, в пилотках, тюбетейках, тюрбанах, блатных шестиклинках... – все кричали, пели и обнимались, и выбивали чечётку не в лад с музыкой на пыльной азиатской дороге! И кучка пацанов-ремесленников, одетых во что попало, потому что свою форму они давно повыменяли на жратву, кучка худых и бледных заморышей коряво и натужно, срываясь на фальшь, выдувала из медных труб мелодию «Славянки».

Ночью на одной и той же станции сошли Борис и майор. Я попрощался с ними и собрался завалиться и наконец-то выспаться, отдохнуть... Нет! От судьбы не уйдёшь... Поезд притормозил на одном из ближайших полустанков, и тут в моё купе вошёл Иван, которого я прежде называл мордатом. Мне не понравилось выражение его лица.

– Разлётся, голубчик! А ну вставай, быстро!

– Ты что?! Тебе ведь заплатили...

– Собирайся, не то!..

– Правильно, ещё и долги не платит, – услышал я голос неопределённого попутчика со второй полки.

Так я оказался совершенно один на незнакомом мне сибирском полустанке...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Рассказ

1

Первой в редакцию приходила уборщица, тетя Даша, но Степан к тому времени уже не спал. Его чуть свет будили гулкие шаги по железной лестнице – это шли посетители в облсобес. Редакция находилась в старинном купеческом особняке. Это было двухэтажное здание с балкончиками полукруглой формы, с лепными фигурками на фронтоне. Железная лестница завершалась на втором этаже темной и гулкой площадкой. Слева – вход в молодежную газету, справа – в облсобес.хлопотное соседство. Не добившись своего в правом крыле, посетители шли в левое. Положение создавалось щекотливое: не помочь нельзя, потому что шли в основном старики да инвалиды. Но беда в том, что возможности молодёжки ограничены – она если и затрагивает высокие инстанции, то осторожно, обиняком, не называя партийных функционеров таковыми, а, скажем, «один из руководителей»... Вообще, больше приходилось просить, а не нажимать.

Табличку с названием газеты, как и положено, прикрепили у входа в здание, но, чтобы клиенты собеса не ошибались адресом, пришлось точно такую же повесить и на втором этаже. Степан, кроме того, прикнутил к двери листок со словами: «Товарищи! Пожалуйста, не шумите. Вы мешаете работать».

Редакционные подшучивали над ним: «Ну что, помогло?! А не снять ли тебе кабинет у соседей? По крайней мере, будешь знать, что в шесть – подъём...» Ответсекретарь Слава Пухов с издёвкой цитировал Евтушенко: «Граждане не хотят его слушать, гражданам бы выпить и откусать...»

Им хорошо было шутить, а он уже забыл, когда высыпался. Редкий вечер выдавался без того, чтобы кто-нибудь не остался в отделе после работы. Трепались, играли в пинг-понг, гитарили, взбадривая себя дешёвым вином. Работали-то здесь люди молодые. В основном. Редакция была как бы квартирой общего пользования. Стоило кому-то поссориться с женой или же холостяку некуда было приткнуться с девушкой – все шли сюда. Да к этому располагало и само здание, его, так сказать, неофициальный вид, более подходящий для музея. Уже который год редакцию собирались переводить, да всё откладывали, и жизнь во времянке создавала особый колорит.

Слава Пухов балагурил: «Ты, Приходько, у нас прислуга за всё, – помнишь, Паниковского у Остапа Бендера? Имеешь право требовать повышенный гонорар, но при условии, что сдашь энное количество строк!» Считать строки давно перестали в других газетах, но Слава, усмехаясь, отмахивался: «Вот переедем и перестану...» У Степана как раз с этим делом было не ахти. Да и неприятно, что тебя, единственного в редакции, хотя и в шутку, называют по фамилии, как бы давая понять, что ты не в штате, неполноценный.

Диван сельхозотдела после многолетнего употребления стал жёстким, угловатым, качалка под головой провалилась, пружины врезались в ребра.

Тётя Даша, начинавшая уборку с редакторского кабинета, старалась не шуметь, но постепенно втягивалась в ра-

боту, и то позвякивала совком о ведро, то двигала столы и стулья. Степан, проснувшись, вспоминал, что надо идти во двор рубить дрова, носить уголь. Он привык к этому занятию, и уборщица была довольна своим помощником. В редакции всегда в зимние месяцы стоял запах гари. Сотрудники поругивались, редактор отмалчивался. Тётя Даша грозилась уйти, говоря, что «все руки пообрывала с ентими ведрами да охапками дров, а как получать, дак на тебе, Дарья, семьдесят рубликов и пляши!» Уборщица была пожилая, с круглым широким лицом, носила валенки, плюшку, повязывалась до бровей тёплым платком, под которым была ещё и белая косынка. Любила покрикивать. Зять у неё был геологом, и она приговаривала: «У мене, что тут, что дома завсегда полно гавриков! Знай, ходи за ними да ставь яичницу...» Степана она приняла, как родственника. Сама ещё недавно деревенская, расспрашивала его о матери, о сестре. «Ну и работал бы на тракторе али там на комбайне, парень ты видный, крепкий, чего тебе корчиться? Ну, иные, кто и делать-то ничего окромя не умеют, сидять – чернила переводють, а ты бы...» Она проводила тяжелой ладонью по его длинным прямым волосам с желтоватым отливом: «Ишь, отрастил, как вроде городской...» – «А то ж не городской?!» – обиженно отвечал Степан.

Иногда уборщица вытаскивала из старой сумки четвертинку. Они редко бывали в продаже, но она запасалась ими. «Мои-то гаврики мимо рта не пронесут! А поставишь маленькую, глядишь, и выпьют меньше...» Наливала граммов сто Степану, пригубливала сама, и они вместе завтракали постоянной жареной картошкой, благо плита работала исправно. Потом она уходила, и Степан оставался один. Он сидел за столом, глядя на мучительно чистый лист бумаги, – надо

было чем-то его заполнять. И этот, и другие листы – множество... Да не как-нибудь, а с толком... Сегодня, завтра, послезавтра... А для чего? Да для того, чтобы тысячи людей, мельком прочитав или даже не читая, выбросили или сожгли твой труд. А может, в его теперешнем состоянии виновата погода? Февральская оттепель, слякоть. Испытательный срок подходил к концу, а он ещё не выдал ни одного стоящего материала.

Перед уходом в армию он был комсомольским секретарём в своей Старице. Однажды его попросили написать заметку в молодёжную газету о выпускниках, остающихся в колхозе. Потом пошла статейка о молодых механизаторах. Он и сам работал в колхозной мастерской. Чёрт его дёрнул после демобилизации отослать в ту же газету что-то вроде очерка о новом главном агрономе.

2

Луг был весь в промоинах. Чтобы попасть к реке, надо петлять, и он петлял, добираясь до «штанов» – так называлось слияние Старицы с Донцом. Лежал на горячем песке, щуря глаза от солнечных зайчиков. Заросли куги, метёлки камыша, лодки, приткнувшиеся к берегу или вытащенные на песок. Сосновый бор подступил к воде. Когда-то вся Старица лежала в бору, теперь здесь остались отдельные островки леса. В полдень сильны были запахи хвои, мокрого песка, влажной травы и полусгоревших головешек в центре рыбацкого костра. Всё это было знакомо с детства, но как-то воспринималось не сознательно. После двухлетней разлуки он с удовольствием, даже с наслаждением, поглядывал на крутой противоположный берег, поросший густым лиственным лесом. Далеко на горизонте зелень деревьев незаметно переходила в небесную размытую голубизну.

К реке на велосипедах приезжали мальчишки, ловили удочками карасей, звонко перекликались и, орудуя одним веслом, лавировали между извилистыми берегами или купались до посинения, а потом собирали для утят ряску и, набив ею мешки, уезжали домой.

Степановы дружки и ровесники появлялись к вечеру. У них были продубевшие от солнца и ветра лица, мускулистые фигуры. Девчонки повзрослели и чуть ли не все казались красавицами.

Степан был на распутье – оставаться работать в колхозной мастерской – в зимние месяцы, а в сезон садиться на трактор или на комбайн? А может, попробовать свои силы в газете, куда его приглашали? Решил вкусить городского хлеба.

Заведующим отделом сельского хозяйства областной молодёжной газеты работал Ваня Волков. Степан кое-что о нём слышал. Этот немолодой уже человек был единственным в области, кто пошёл против течения, отстаивая неперспективные деревни. И ещё: у всех на памяти был его очерк о том, как перед самой Курской дугой немцы принялись спешно вывозить русский чернозём в свой фатерланд. Однажды старик, работавший вместе с тысячами других на погрузке земли, с усмешкой заметил: «Недаром он землю нашу ворует, видать, надумал драпать!» Кто-то донёс в комендатуру, и старика расстреляли. А конец у этой истории был почти былинный: немногочисленные партизаны (где им было прятаться в этих полустепных местах?) пустили под откос эшелон с родимой землей! Ваня сам был ранен во время нашего артобстрела, хромал, ходил с костыликом. Он был живой достопримечательностью города.

Мать, узнав о решении Степана, всплеснула руками:

– Опять из дому, сынок...

– Да что ты, мам, тут же рядом, каждую субботу-воскресенье буду приезжать.

– Как знаешь, сынок, а только устроился бы тут, и жили бы кучно, люди вон теперь по две коровы держат.

– Ну, зачем они нам, две коровы?

Сестра, Тонька, в прошлом году окончила школу, попыталась поступить в областной пединститут, не получилось, и она махнула рукой. У неё тут завелся женишок. Крепкая, с толстой русой косой, она заранее покупала тряпочки для будущих детей и на насмешки брата отвечала, смеясь:

– А чего?! Я женщина, баба... Моё дело рожать...

– А если нарвёшься на пьяницу, мало их тут?

– Это я-то? – с придыханием возразила Тонька. – Я из него разом дурь выбью! – И повела налитыми плечами.

Две недели до отъезда в город Степан запасался на речке камышом, потом с друзьями подновлял крышу. Привез матери угля, напиллил и наколол дров, сложил в поленницы.

Отец ушёл от них, когда Степану было семь лет, он как раз собирался в первый класс. С Сахалина пришло письмо с обещаниями высылать им деньги. И вправду, пошли переводы. А года за два до Степановой армии отец прислал фотографию и приглашение сыну и дочери погостить. А если Степан захочет подзаработать, то отец может взять его «в моря» на путину. На фотографии рядом с отцом стоял большеберотый мальчик лет шести. На обороте было написано: «Это Сеня». Мать вытирала слёзы, рассматривая фотокарточку, но когда Степан попытался порвать её, она запретила: «Что ты, сынок, разве ж дите виноватое?!» Потом пристроила фотографию к портрету, на котором была снята с отцом в день свадьбы.

С самого начала работы Степана в газете Ваня Волков стал задерживаться вечерами в отделе. Был слух, что у него нелады с женой. Новому сотруднику не то, чтобы разрешили жить в редакции, просто никто ему этого не запрещал. Ваня обычно припасал бутылочку дешёвого вина, чаще «Яблочного», и они сидели, говоря о том о сём, но в конце концов разговор всегда сбивался на деревню.

Однажды под лёгким хмельком Степан рассказал своему завотделом об отце и о фотографии, присланной с Сахалина.

Ваня вскочил и, припадая на левую ногу, стал быстро ходить, выкрикивая:

– Вот, видишь, что значит русский человек! Она ему всё простила, она уже жалеет этого мальчика. Да чего там! Вон в моей Корытовке в одном доме живут две старые женщины – баба Вера и баба Ксана. Так вот у них был один муж на двоих! Как, говоришь? Да так... До войны он жил с бабой Ксаной, ну, тогда она была молоденькая... А потом ушёл к бабе Вере – само собой, она тоже была молодая... Жили-то в одном коридоре, а мужиков было, сам знаешь, раз-два и обчёлся. Смолоду стоял шум, волосы трещали, а с годами подзатихло. Ну, а когда похоронили своего благоверного, и вовсе сдружились, к тому же у обеих дети, родные по отцу... Такие, брат, дела.

В это время, – а был конец сентября, на улице ветрено, темно, – в отдел вошёл Слава Пухов.

– А, голубчики-купчики! Ты, значит, Славик, шатайся себе по городу без пристанища, а они сидят тут в тепле да философствуют о высоких и низких (кивок на бутылку) материях. Налей-ка, Ванюша, для сугрева граммулечку! Небось всё свои деревеньки мёдом обмазываете?

Слава снимал джинсовый плащ, оглаживал светлый хохолок и, щуря свои безбровые глазки, снисходительно поглядывал на приятелей. И ещё он по привычке фальшиво насвистывал – фальшиво, но уверенно, и поправлял галстук.

Слава такой модник, что и при мужчинах охорашивается. Он привык выщучивать всё и вся и при первом же знакомстве со Степаном пропел на цыганский лад, но, конечно, фальшиво: «Брошу серьги, брошу бубны, пойду в шумный город жи-ить!»

Парень он был вроде и компанейский, хотя и ухитрялся никому не быть обязанным: посидит, побазарит, выпьет, кстати, не меньше других, но очень тонко чувствует тот момент, когда нужно подняться и отойти в сторону.

– Вот послушай-ка! – Ваня принялся рассказывать ему историю со Степановым отцом и с фотографией.

Слава спокойно допил вино, облизнул полные губы и умильно провёл ладонью по намечающемуся брюшку.

– Русская душа! Ты, товарищ мой, не попомни зла-а!.. Так?

– А пошёл бы ты, шут гороховый! – Ваня замахнулся на него костыликом.

– Ухожу, братья во Христе, ухожу. Да и вам не пора ли баиньки, а то кое за кем ещё числится должок, а испытательный срок-то на исходе...

3

Незадолго перед тем был принят на работу в отдел комсомольской жизни выпускник Тартуского университета Сергей Раскатов. Он сразу же спелся с ответсекретарем – спелся в прямом и переносном смысле. В редакции появилась новая гитара. Новичок крутил на ней восьмёрку и всё пел, пел... Был он странно конопат, даже на кистях рук что-то наподо-

бие рыбьей чешуи. Одевался с иголки, вообще, выглядел ффраером почище Славы, но, в отличие от пустомели ответсекретаря, выдавал отличные материалы. Ирочка Платонова, секретарь-машинистка редактора, томная красавица, сразу после школы выскочившая замуж за майора старше себя лет на пятнадцать, с первого же дня завела с Раскатовым игривые отношения. По вечерам можно было услышать, как они там веселятся в Славином кабинете.

Тётя Даша делилась со Степаном своими наблюдениями:

– Нет, ты погляди, как обнаглели-то, а?! В других редакциях и диваны давно поубирали, чтоб баловства не было, а тут, господи прости... А бутылки-то, бутылки! Всё коньяки да шампанские... Он что, миллионщик у вас, новенький-то ентот?.. А майор, дурья башка, чего себе думает?

Раскатов с самого начала стал относиться к Степану высокомерно и снисходительно. Однажды Степан неудачно съездил в очередную командировку – не мог «организовать почин»: вчерашний пэтэушник сгоряча изготовил сто сорок шайб вместо ста по плану, партком и комитет комсомола сразу раздули это дело и призвали рабочих области последовать примеру бедного пэтэушника... Степану так и не удалось его увидеть: парня «съели» его же товарищи по авторемзаводу. Рабочие, с которыми говорил неопытный газетчик, зло отвечали в том духе, что начальству только бы придумывать почины, а ставить штампы и менять оборудование должен Пушкин. «Знаем мы эти «почины». Месяц-другой поупираешься – и срежут расценки...»

Вернувшись не солоно хлебавши, Степан сразу позвонил Ване домой, и тот поспешил в редакцию. Не успел молодой сотрудник и рта раскрыть, как в отдел зашел Раскатов.

Он присел за ближайший к двери стол и с рассеянной улыбочкой прислушивался к разговору. Ваня постукивал костыликом в пол, смотрел в окно, Степан глядел ему в затылок, а третьим в этой колонне был Раскатов.

Ваня досадливо качал головой и хмурился, выслушивая рассказ о Степановых неумелых действиях: не догадался зайти в тот же партком завода, не сообразил поговорить с секретарём райкома комсомола...

– Ну, а ты что скажешь, Сергей?

– Я-то? – усмехнулся Раскатов. – Чего тут говорить...

Приходько пошёл на поводу у несознательных рабочих...

– Ты что, на митинге? – поморщился Ваня.

– При чём тут митинг! Ежу понятно, что все эти «почины» – липа... Но уж если ты пошёл работать в газету, то будь любезен делать своё дело!

– Выходит, штампы ставить не надо, оборудование обновлять тоже? Ты, братец, далеко пойдёшь!

– Есть далеко пойти! – дурашливо козырнул Раскатов и тут же добавил: – Пардон, пардон...

На пороге стояла Ирочка Платонова, ангел в потёртых американских джинсах и в белой кофточке с напускным рукавом необъятной ширины. В высокой причёске «очень небрежно и естественно» запутался кленовый листок.

– Видение! Право, видение! – Галантный, хотя не без юмора, Ваня склонил перед секретаршей свою большую лысоватую голову.

Видение соизволило всем улыбнуться и помахать пальчиками. Раскатов небрежно приобнял ангела и шлепнул его ладонью пониже спины, на что последовало традиционное:

– Отдёрни, отдёрни, женихи любить не будут...

Слышно было, как за парочкой захлопнулась дверь секретариата.

Что-то никак у Степана не складывались дела. Он вымучивал материалы и так и сяк. Но дело не шло...

Однажды Слава Пухов положил ему на стол письмо из района и удалился, не сказав ни слова, фальшиво насвистывая: «Если друг оказался вдруг»...

«Дорогая редакция! Пишет вам комсомолка Надежда Самохина...» Стоп, стоп! Надежда Самохина – уж не Надька ли?!

«...По окончании школы я осталась в колхозе и пошла работать механизатором, так как вместе с мальчишками я и моя подруга Светлана Холодова получили в старших классах профессию механизаторов широкого профиля. Но бригадир тракторной бригады Парфёнов Александр Иванович специально подсунул мне некомплектный старый трактор «ДТ-54» и заставил его ремонтировать. А у нас стоит без движения вполне исправный «ДТ-75», но меня к нему не подпускают... И всё потому, что я не согласилась на его ухаживания. У него ведь есть своя жена. Прошу помочь мне. С уважением Надежда Самохина».

На конверте стоял адрес: село Ивановка Порубежного района. Точно – Надька! Да и Парфёнов – старый знакомый, передовик, орденносец...

– Надо ехать. Да ты сам вроде оттуда? – спросил Ваня.

– Почти. Я из Старицы, а Ивановка рядом, я там кончал школу. Эта самая Надежда... Надька, считай что родня, наши матери подруги...

– Даже так?! А бригадир-то – знаменитый Парфёнов! Ты там смотри, поосторожней, поговори с кем надо, в общем – обдумай, что да как.

4

После армии Степан не видел Надьку и теперь, сидя в автобусе, пытался представить, какой она стала. Шёл снег, мело. Он вошёл в лес, когда начало смеркаться. Деревья после оттепели были черны и безжизненны. Пройти надо было около трёх километров. Он заметил, что ноги сами прибавляют шагу. В последние несколько лет опять расплодились волки, а в огороды по-над речкой стали наведываться кабаны. На зеленях лежал слой снега, кое-где обозначились бороздки. На песчаной отмели ветер трепал кусты раkit. Ага, вот следы от коньков, значит, прихватило. И всё же он шёл, ёрзая подошвами.

Вот она, Ивановка. Вдалеке чуть белеется школа, рядом сад. Здесь он учился, начиная с пятого класса. Здесь же, только лет на пять раньше, получил специальность механизатора широкого профиля, как и Надька.

Знакомый с детства дом крыт соломой, глядит на улицу двумя подслеповатыми окнами. С тех пор как Степан был тут последний раз, домишко покосился и присел. Калитку открыла простоволосая девушка. В сумерках она безмолвно окинула гостя взглядом и кивнула, отворяя двери в сенцы. А когда вошли в горницу, бывшую и спальней и столовой, Степан остановился на пороге. Болезненный хриплый голос спросил с русской печи:

– Кто там, Надь?

– Жених, кто же ещё! – нарочито бодрим голосом отвечал Степан, не спуская взгляда с молодой хозяйки. У неё были припухлые подвижные губы и пепельные волосы, немудрёно закрученные в гульку на затылке. Старая грубошёрстная кофточка была ей к лицу. Вот тебе и Надька!

– Ты что же, не узнала? – спросил гость.

– Как не узнать, – ответила девушка вздохнув.

С печи слезла худая старая женщина.

– Божечки, да это же Степан! Стёпа, сынок...

И он увидел её, но не сегодняшней, а помоложе, ещё помоложе, почти молодой женщиной – то здесь, то в Старице, у себя дома. И ему вспомнился рассказ матери, как они с тётёй Настей прятались в лесу, когда в село вошли немцы. Особенно врезался в память эпизод с коровой тёти Насти: из её крупных красивых глаз лились слёзы, будто и она, корова, понимала, что пришла беда... А как они спасались от угона в Германию! Раздирали себе язвы на теле, обливали эти места керосином, натирали дурманом.

Старая хозяйка обняла Степана и захлюпала носом, подталкивая к столу:

– Садись, садись, гостёк дорогой... Мама-то как, давно не видела, болею вот...

Надя раскраснелась, но, кажется, она была немного разочарована: газетчик-то оказался знакомым, сыном тёти Маруси из Старицы.

– Закусывай, Стёпа, бери грибочки, нынешний год страсть сколько их было. Тонька-то не вышла замуж?.. Собирается? Ты заночуешь? Завтра уточку зарежу.

– Да ведь я по делу, я ненадолго...

– Ох, детки, я и забыла, пряжу надо отнести до соседки... А вы тут посидите, – встретившись со взглядом дочери, она осеклась и вышла.

– Ты бы хоть пригубила с гостем, – сказал Степан, – а то не знаю, как с тобой и говорить, с такой серьёзной.

– Прямо уж и серьёзная, могу и выпить. – Надя сделала пару глотков и прикрылась руками.

– Вот бы нас тут с тобой увидели, газетчик!



– Подумаешь!.. – И тут же вспомнил наказ Вани Волкова. – Ну, давай рассказывай. – Он вытащил из кармана её письмо и блокнот.

– А чего тут рассказывать... Вызывали, уговаривали: «Ты подумай, как важно и почётно в наше время девушке быть механизатором!» – Она грустно усмехнулась. – Дура была, вот и согласилась... Светка хоть сразу замуж выскочила... Попробуй, когда каждый лезет...

На подоконнике рядом с зеркальцем стояла фотокарточка парня в военной форме.

– У тебя кто-нибудь есть? – неожиданно для себя спросил Степан.

Надя, проследив за его взглядом, обиженно ответила:

– Да был тут один, писал из армии...

«О чём я говорю?! – подумал Степан. – Мне надо брать материал». – Перед глазами стояло высокомерное лицо Раскатова.

– Вот, сейчас я тебе покажу. – Надя отошла к этажерке, стоявшей возле высоко застеленной кровати. – Вот видишь, героиня чёртова...

На первой странице районной газеты был напечатан портрет девушки-школьницы, а над ним шапка: «Комсомольцы остаются в родном колхозе!». И чуть меньшими буквами: «Надежда Самохина призывает одноклассников помочь своим односельчанам».

– Видишь, здесь всё есть! И честь смолоду... И трудовой героизм... И горячий порыв молодости... – И вдруг лицо у неё сморщилось, губы задрожали: – «Глупая ты девчонка, – заговорила она чужим голосом, передразнивая кого-то, быть может, того же Парфёнова, – молодость пролетит и не заметишь... А со мной... А у меня ты, как у Христа за пазушкой...»

Степан представил круглое лицо и оплывшую фигуру знаменитого бригадира – таким он знал его несколько лет назад.

– Нет, не могу! – вскрикнула Надя. – А тут ещё и этому дураку написали, нашлись... Вот вам всем, вот, вот! – Она выхватила из рук Степана газету и стала рвать её на мелкие кусочки, выкрикивая сквозь слёзы: – Передовик! Орденоносец! У самого больная жена и трое детей, а он, старый кобель... И этот, и этот! – Она подбежала к подоконнику, схватила глянцевого красавчика в военной форме и стала его уничтожать. Обессилев, упала на кровать и разрыдалась.

Степан сидел в растерянности и разглядывал убогую обстановку комнаты – ни телевизора, ни даже радиоприемника. Правда, на полу валялся шнур антенны.

– Ладно, прости, пожалуйста... Больше не буду... По-нарвала бумаги, дура!

– Да уж справилась...

– Тебе-то что, а я... а мне тут хоть вешайся... – И вдруг улыбнулась. – А помнишь, как ты нас с Фенькой чуть не утопил?

После восьмого класса тётя Настя с дочерью и с какой-то её подругой были у них в гостях. Он усадил девчонок в свою лодчонку – покатать. Подруга свесилась за кувшинкой, Надя – в ту же сторону, наперекор, и лодка перевернулась, а вернее, выронила их обеих в воду.

– Помню, конечно, ты с тех пор не изменилась. Нет, изменилась, к лучшему...

– Скажешь тоже, к лучшему... Ты это... не надо ничего писать, скажи, что всё это неправда, придумала сдуру...

– Тебе шуточки, а меня ведь специально послали.

– Какие шуточки! Он, вон, говорит, пиши хоть в «Правду»... Кто ты и кто я, только опозоришься... – Надя помолчала и с усмешкой добавила: – Никакая я не героиня, а тор-

чу здесь только из-за больной матери. Телевизор и тот надо полгода ремонтировать...

Степан встал, больше тут нечего делать.

– Ну и куда ты пойдёшь на ночь глядя? – виновато спросила девушка. – Оставайся до утра, а то меня мамка заругает...

– Ну, если мамка заругает... Хорошо, пойду покурю.

– Кури здесь, я и сама балуюсь с подружками. – Она неумело прижгла сигарету и, затянувшись, закашлялась. Рука с длинными пальцами, на которых были коротко отрезанные ногти, подрагивала, когда она гасила сигарету о блюдец.

– Ты вот спрашивал у меня, а сам не женился? – усмехнулась Надя.

– Давно бы, да невесты не найду. Ты ведь за меня не пойдёшь...

– А если пойду, тогда что?!

В сенцах скрипнула дверь, вошла тётя Настя.

– Поужинали? Дочка, ты постелила гостю?

Отказаться от перины ему не удалось, хотя он и в самом деле не любил спать на мягком. Долго ворочался и всё думал, думал. Надя тоже ворочалась и сдерживала вздохи.

Вспоминались ответсекретарь, Раскатов, Ирочка Платонова... Что же это происходит? Одни живут в своё удовольствие, а другие мучаются. Он и сам удрал на вольные хлеба: все эти статейки – разве это работа по сравнению с тем, что делают люди здесь? Раскатов как-то в споре говорил, что талант должен оплачиваться... Разве талант заслуга человека? Нет, о таких вещах лучше не думать. Он заставил себя прислушиваться к метели, воющей в трубе, но вспоминалось другое, то, что было связано со школой...

Вот они с друзьями стоят возле колхозной мастерской – ждут, когда выйдет из правления знаменитый на всю

область механизатор Парфёнов. Ему тогда было лет тридцать, но у него уже округлилась фигура. И вот Степан сидит за рычагами «НАТИ», рядом с бригадиром. Затягиваясь толстой самокруткой, Парфёнов наклоном головы показывает ученику, куда и как вести тяжёлую машину. Степан взмок от напряжения, от боязни ошибиться. Так, этот солдатик, этот глянцевоый красавчик – интересно, здешний он или... Вот и выходит, что он, Степан Приходько, не выдержал испытательный срок... А у этого Парфёнова больная жена... Чёртов солдатик, чёртов Парфёнов, чёртов телевизор... И вообще – топят дровами, живут в развалюхе, хотя посреди посёлка целая улица новых домиков – всё для варягов. А что же они, старая женщина, потерявшая на войне отца и брата, да и муж вернулся весь израненный и умер раньше времени... Девчонка, которая по глупости согласилась остаться среди таких, как Парфёнов...

Когда он проснулся, в комнате было светло. Он не сразу сообразил, где находится. За последние два года приходилось коротать ночь и на узкой армейской кровати, и на домашней кушетке, и на редакционном диване с его острыми углами. Открыл глаза – и вспомнил, что в Ивановке, у Нади. «Видишь, как – у Нади, а не у тёти Насти», – усмехнулся он над собой...

– Выспался? Рукомойник в сенцах, а то давай здесь солью, – предложила хозяйка дома.

– Ничего, я солдат! – Он взял полотенце и только тут заметил, что Надя сидит за столом в давешней серой грубошёрстной кофте. Под цвет глаз, влажных, молодых... Странно, что серая обстановка комнаты как-то не отражалась на её внешности. Они встретились взглядами, и она тут же отвернулась.

– Завтракайте, вот молочка соседка принесла, а я пойду откидаю снег, замело за ночь.

– Куда ты, мам, я сама. – Надя быстро допила молоко и накинула фуфайку.

– Да что вы, ей-богу, не мужик я, что ли? – Степан тоже быстро собрался, готовый взяться за работу.

– Ещё чего! Увидят, начнут болтать, – возразила Надя.

– Ох, дочка, Стёпу не знают, скажешь такое... А дровец не грех бы наколоть...

На улице было солнечно. Морозец пять-семь градусов. Ослепительное деревенское утро. Степан, шурясь, взял грабарку в сенцах и пошёл ею орудовать, Надя рядышком работала лопатой. Тётя Настя ходила по дворику в ожидании, пока расчистят дорожку к сараю, где, учуяв хозяйку, подавали свои голоса куры и утки.

Временами старая женщина поглядывала на молодых людей, и это им передавалось. Они пилили дрова, потом он стал колоть чурбачки, а она носить полешки в избу.

– Гляну я на вас, да и подумаю – вот парочка была бы!

– И тебе не совестно, мам?!

– Уж и слова не скажи!..

Потом они сидели за столом молча.

Наконец, Надя встала:

– Вот и всё! Мне пора в мастерскую...

– Может, и мне с тобой? Поговорю там с кем надо...

– Нет! Ни с кем тебе не надо говорить... Ты только не злись, а то я буду плакать. Или вот соберусь и уеду с тобой в город! Испугался?!

– Аж коленки задрожали... Будем с тобой жить в кабинете редактора, купим керогаз! Или попросимся к ответсекретарю, есть у нас такой весельчак Слава Пухов!

Надя хмыкнула и покачала головой. В сенцах она провела варежкой по его небритой щеке и засмеялась:

– А жаль, а жаль... Прощайте, товарищ корреспондент!

5

Прямо с автостанции Степан позвонил домой Ване Волкову. Детский голос ответил, что папа в редакции.

В сельхозотделе резались в пинг-понг Слава Пухов и Сергей Раскатов. Вокруг стола похаживал, дожидаясь своей очереди, фотокор Ватченко, высокий, сухопарый. Он был чемпионом редакции и даже котировался в местном Дворце спорта. Раскатов выигрывает у Пухова, но обязательно проигрывает Ватченко, да ещё при свидетелях – на диване сидит Ирочка Платонова.

– Те же и Приходько! – прокричал ответсекретарь. – Ну и какие делишки, командировочный ты наш?!

– Играй себе, играй! – бросил ему Ваня. – Присаживайся, Стёпа, выкладывай.

Раскатов усмехался, уверенный, что ничего хорошего наш командировочный не привёз.

Ваня отложил авторучку взял в руку костылик и принялся легонько постукивать им в пол. И тут к ним пристроился проигравший Слава.

– Что, любопытство заело, проигравший ты наш? – спросил Ваня.

Ответсекретарь, взбивая хохолок, усмехнулся:

– Как хотите...

Степан говорил, но у него было ощущение, что он выдаёт чужую тайну. Как описать истощённое лицо тёти Насти, клочки бумаги на полу, убогую обстановку, в которой живут эти люди. Рыдания Нади, её лицо, когда они пилили дрова... А варежка у его небритой щеки?..

– Ты, Степан, не обижайся, нужны факты, а ты мычишь...

– Ну, как тебе объяснить: земляки – не то слово, мы почти родня, мы...

– Всё мы да мы, – Ваня нетерпеливо постукивал в пол костыльником, – ты говорил с кем-нибудь, кроме неё?

Тут на Ванин столик прилетел целлулоидный шарик, стукнулся, подпрыгнул и улетел. Степан краем глаза видел недовольное лицо Раскатова: хлёсткие удары Ватченко заставляли подпрыгивать на диване Ирочку.

Ваня проводил шарик взглядом, взял чистый лист бумаги и написал сверху «Надежда Самохина», повёл руку книзу и, заострив прямую, написал: «Парфёнов».

– Как обстоит дело с этим? Ведь главное – это?

Степан молчал, уставившись в пол.

– Так ты и ночевал у них... А рюмочку они тебе, часом, не поднесли?

– Было немного... Я же тебе говорю – мы почти родня...

– Да, брат ты мой! А скажи, что думать по этому поводу тому же Парфёнову?! Не знаю, не знаю...

И вот наконец под головой качалка старого дивана. А перед глазами – подрагивающие губы Нади, припухлые, детские губы, её серые влажные глаза, пепельные волосы... Клочки газет, обрывки глянцевой фотографии.

Редактор пришёл в половине девятого.

– Зайдите ко мне! – строго сказал он, с недовольством оглядывая брюки и рубашку Степана, развешанные на спинке стула.

– Ах ты, господи! Это я, глупая баба, виновата... Дай, думаю, выпится парень, замотался, а оно вишь как! А я тебе картошечки поджарила... – причитала уборщица тётя Даша.

– Какая там картошка!

– Эка, дурачок! Валентин-то Иваныч, чай, не злодей какой...

Редактор выслушал Степана, не перебивая.

– Значит, она не хочет, чтобы мы это дело раскручивали, так? А вы взяли и уехали... Хорошо. А вот скажите мне: вы сможете на комсомольском собрании вашей родной школы призвать десятиклассников оставаться в колхозе? Не сможете? Почему? Да потому, что Надежда Самохина... Вот именно! Пример Надежды Самохиной показывает, чем всё это кончается... А как же быть?! Вопрос-то государственный?! Ну, а бригадир наш знаменитый, он что, предложил вашей героине замужество или так – посидеть на завалинке и разбежаться, а?! – хитрые глазки редактора шарили по лицу Степана. Отвечать было нечего...

Редактор набрал междугороднюю, заказал по срочному Ивановку. Председателя не оказалось, трубку взял партсекретарь.

– ...Там у вас находится наш сотрудник... Да, да, земляк, Степан Приходько... Что?! Был, но не зашёл? Какой ещё самогон? Он у нас парень непьющий... Ну, заночевал у хороших знакомых, не страшно, гостиницы-то у вас нет! Что, есть Дом приезжих... Наверно, не сориентировался... Да, думаю, он сейчас у матери в Старице, зайдёт, обязательно зайдёт, вы уж помогите ему разобраться...

Самому Степану редактор не сказал больше ни слова. Было ясно, что надо срочно ехать назад в Ивановку.

Ни председателя, ни парторга в конторе не оказалось. Бухгалтеры ушли на перерыв, зато на диване сидел в добротном кожаном кресле бригадир Парфёнов собственной персоной!

– Привет представителям печати! – усмешливо заметил он и так сдвинул Степану ладонь, что тот поморщился. –

А ведь это мой бывший ученик, – тем же тоном продолжал бригадир, точно говоря с кем-то третьим. – Да-а, практику у меня проходил, толковый был парень, жалко – уехал искать лёгких хлебов... – Смеющиеся глазки Парфёнова остановились на осеннем Степановом пальтеце мышинового цвета. – А мы бы ему тут и квартирку дали, и невесту подыскали. У нас тут такие принцессы пропадают – задень её плечом, так и в «Правду» напишет... Да, у нас вон целый посёлок пуствует... и «К-700» стоит на приколе, некому его обратить...

В голосе бригадира был ещё и вызов, но уже появилось и добродушие – дескать, что нам с тобой делить, я, конечно, мог бы послать тебя подальше, а я, видишь, какой...

Новые домики прямо-таки заглядывали в окно правления...

– А и в самом деле, чего бы тебе не перебраться к нам, считай, что дома... Дела у тебя, слышно, не очень-то гладкие...

Степан молчал – не мог же он говорить с этим человеком о Наде...

В автобусе и по пути в редакцию думал о том, что скажет Ване. Мысленно прощался с городом. Зато не придётся больше вздрагивать при виде Славы Пухова, выносить насмешки Раскатова. Да и что он тут видел, в городе? Сидел, не разгибаясь, в редакции или названивал по телефону, собирая мелкую информацию.

Вот они, смешные фигурки на фронтоне. Бегом, через ступеньку, он взлетел на второй этаж по железной гулкой лестнице.

Посторонних в отделе не было. Степан одним махом выложил Ване всё, что надумалось. Волков пригладил рукой остатки волос на своей большой голове и вздохнул, как показалось Степану, облегченно:

– Добре, коли так...

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Рассказ

В начале июня наступило редкостное для Ялты похолодание. В горах выпал снег. На набережной зябко подрагивали веерными листочками пальмы, но часам к одиннадцати солнце освобождалось от облаков, где-нибудь в затишье можно было погреться. Больные и отдыхающие кутались в кофты и плащи, да и немного было гуляющих. И только на ветеранском пляже вылёживались гладкие, похожие на каких-то морских животных, лоснящиеся от жира люди.

Светлана Алексеевна Маликова, тридцатидвухлетняя москвичка, чей срок в санатории заканчивался через неделю, грустно смотрела на море, покрытое барашками после затихающего шторма. Переводя взгляд на ветеранов, она покачивала головой: неужели эти люди с бесформенными фигурами, эти горы мяса и сала были когда-то молодыми, стройными солдатами и офицерами?! Лёгкие, стремительные, способные на страсть в любви и на подвиг в бою! Осуждать было бы смешно и несправедливо – время, время.

Три женщины, видимо, жёны ветеранов, стояли у кромки воды с явным желанием искупаться. А ведь дикторша только что объявила: «Товарищи больные и отдыхающие! В связи с резким похолоданием будьте осторожны, не заплывайте далеко в море, не переохлаждайте свой организм!».

Минут десять назад Светлана Алексеевна проходила мимо лечебного пляжа и видела на специальном щите тем-

пературные данные: воздуха – семь градусов, воды – шесть. А этим женщинам, выходит, хоть бы что! Две моржихи были полными, с оплывшими фигурами, третья выглядела значительно моложе, из-под резиновой шапочки выбивались пряди крашенных хной волос. Чем-то она напоминала гимнастку.

Перед тем, как войти в воду, эта третья помахала рукой и улыбнулась невысокому лысоватому мужчине, а он, приподнявшись на локти, также улыбнулся, показав ряд стальных зубов. Светлана Алексеевна подумала, что так улыбаться могут люди, не утратившие свежего чувства или глубоко привязанные друг к другу. Вот «гимнастка» подошла к воде, поплескалась, окунулась с головой и поплыла в направлении буйков. Две другие женщины брызгались, визжали, стоя в воде по щиколотку, потом присели по грудь и, хохоча и ойкая, побежали к кабинкам переодеваться.

Третья плыла уже далеко, приковывая к себе внимание всех, кто был на пляже и на набережной. Трое пожилых седобородых мужчин в пёстрых халатах и тюбетейках цокали языками и посмеивались. Даже привычная ко всему девушка-фотограф со своим стендом, облокотясь о парашет, рассеянно наблюдала за пловчихой. Та напоминала дельфина или тюленя. Со стороны казалось, что она полностью отдаётся стихии волн, то поднимаясь на гребень, то опускаясь в котловину.

– Да, с такой бабой не пропадёшь! – услышала Светлана Алексеевна слова одного из ветеранов, ничем не отличимого от своих соседей. Ему что-то негромко ответил другой. Этот резко отличался от других: был совершенно безбров, а на груди у него во всю немалую ширину красовались выколотые мужчина и женщина. Когда безбровый разводил руки в стороны, выколотые отводили головы, а когда он сводил руки к груди, красавчики целовались. Наверно, этот исколо-

тый сказал что-то нехорошее, отчего соседи хмыкнули и отвернулись. И вдруг пляж и набережная стали свидетелями внезапного зрелища. Муж «гимнастки», услышав голос исколотого, привстал на колени, взгляделся в его лицо и тут же с каким-то рычанием бросился на него. Но тот был слишком громоздок и силён, он просто отвёл в сторону правую руку, разъединив целующихся, и его противник упал на песок.

– Это ты! Я узнал тебя, гадина! Я узнал!.. – вскричал невысокий и опять бросился на исколотого, на этот раз в руках у нападающего был зонтик с острым шпилем на конце. Но ткнуть в лицо безбровому не удалось – тот быстро одевался, вопреки своим габаритам, и снова легко отмахнулся от противника. Ветераны повставали – кто на корточки, кто на колени, но когда муж пловчихи заговорил быстрым хрипящим голосом, показывая при этом на свою правую ладонь, некоторые равнодушно вскидывали брови, иные же ложились лицом вниз, чтобы ничего не видеть, и только один, с густым ёжиком, спешно натягивал брюки. Собравшись, он присоединился к мужу пловчихи, которая уже что-то заметила и быстро, мужскими саженками приближалась к берегу.

В это время её муж со своим напарником устремились вслед за исколотым.

– Мало ли что в жизни бывает, – сказал один из толстяков-ветеранов.

– Подумаешь, руку ему прострелили! А ты не сдавайся в плен, не попадай в лагерь! – заявил другой.

– Столько лет прошло, – неуверенно протянул третий, – может, это вовсе и не тот человек...

Но все эти люди старательно отводили глаза друг от друга.

На набережной показался милиционер, и один из седобородых стариков в тубетейке быстро заговорил, держа его

за рукав кителя и кивая головой в сторону, куда скрылись безбровый и его преследователи.

– Сержант, тым плохой чалвек... Его догоняй два хороший чалвек... Иди – давай, помогай – давай!..

– Чего ты, дед, дёргаешь меня, я тебя всё равно не понимаю, – усмехался бравый милиционер, но узбек или таджик, рассердившись, закричал:

– Зачем виремя тиряишь?! Зачем говоришь гылуности?!

Сержант, надвинув на лоб фуражку, трусцой направился в сторону, куда ему указали. И тут же пробежала пловчиха. Босиком, держа в руке босоножки. Светлана Алексеевна увидела её напряжённое и сразу постаревшее лицо. Настоящая женская напасть – рано стареющая шея...

Минут через пятнадцать два милиционера, давешний сержант и ещё один постарше, повели в отделение группу людей: исколотого, мужа пловчихи и его товарища по преследованию. Женщина шла рядом с мужем.

– Родной мой, успокойся... Сейчас всё выяснится... Всё будет хорошо!

– Нет, Вера, ты не понимаешь... Это он, он! Ты не представляешь – у него документы ветерана войны... Это, это... Эта вертухайская морда!..

Они скрылись, но на пляже ещё продолжалось обсуждение происшедшего. Одни говорили, что невысокий муж пловчихи узнал в исколотом своего лагерного надзирателя, охранника. Другие утверждали, что тот не надзиратель, а дезертир...

Один ветеран, выслушав всё версии, сказал:

– Всё это чепуха... Этот самый, который муж... он сидел на Севере после плена или там окружения, не знаю.., а тот, с наколками, был охранником... Ну, и этот бросился за окурком в сторону, а тот выстрелил... видели – ладонь...

– Так эти самые охранники, выходит, такие же ветераны, как и мы?! – спросил кто-то удивлённым голосом.

– Выходит, – ответили ему.

Светлана Алексеевна никак не могла успокоиться. Она родилась после войны и ни о чём таком и не слыхивала.

Она пошла в кафе на набережной, заказала пирожное и чашку кофе, потом, прогулявшись, присела на скамейку недалеко от «Ореанды», рядом со шхунной-рестораном. И вдруг услышала негромкий голос:

– Простите, у вас свободно?

– Да, да, пожалуйста...

Это была пловчиха. У неё ещё не установилось дыхание, глаза были припухшими от слёз. Светлана Алексеевна зачем-то отодвинулась на самый краешек скамьи.

– Что вы, что вы, не беспокойтесь, – улыбнулась ей женщина и вытащила из плетёной сумочки вязанье.

У Светланы Алексеевны началось сердцебиение – так она разволновалась. Она пыталась успокоиться, вглядываясь в даль, туда, где на досках с парусом скользили по успокоившемуся морю спортсмены.

– Простите, пожалуйста, – заговорила она неожиданно для себя. – Я стояла там, на набережной и всё видела. Но если вам неприятно...

Её соседка вздохнула и улыбнулась грустно:

– Нет, нет, что вы..., – снова замолчала, хмурясь и оглядываясь по сторонам.

И тогда Светлана Алексеевна, чтобы только прервать неудобное молчание, стала быстро-быстро рассказывать о себе. О том, что она москвичка, учительница... около двух часов уходит ежедневно на дорогу... Домашние дела... А ведь и муж учитель, завуч по воспитательной работе.

Правда, он в другой школе, но это ещё хуже... Дочка-шестиклассница – тоже в другой, вернее, уже третьей школе... Всё вразнобой... В общем, нервишки – никуда, чуть что – перебои, малейший сквознячок – ангина...

– Простите, я не назвалась – Светлана Алексеевна...

– Очень приятно, – Вера Сергеевна...

– Я вот смотрела, как вы купались, и просто завидовала. Вы такая закалённая, прямо моржиха!

– Так уж получилось... Можно сказать, что я вынуждена была закалиться... Нет, вы посмотрите, какая красота!

С юго-запада, постепенно нарастая, приближался большой белый пароход.

– Вы говорите, моржиха... Тут не то что моржихой, не знаю, кем станешь... Вот вы стояли на набережной... Видели, как муж встретил своего бывшего истязателя.., охранника, который прострелил ему ладонь... Он сразу узнал его по голосу и по этой наколке. Видел однажды, как тот обтирался снегом, – понимаете, они тоже закалялись! Муж тогда попросил у него закурить, а тот прикурил папиросу, отбросил её в сторону и кивком головы указал на неё мужу – разрешил, понимаете, разрешил... Но когда муж сделал шаг в сторону, охранник выстрелил...

Она не могла говорить, всхлипывая и прикрывая лицо руками. Успокоившись, продолжала:

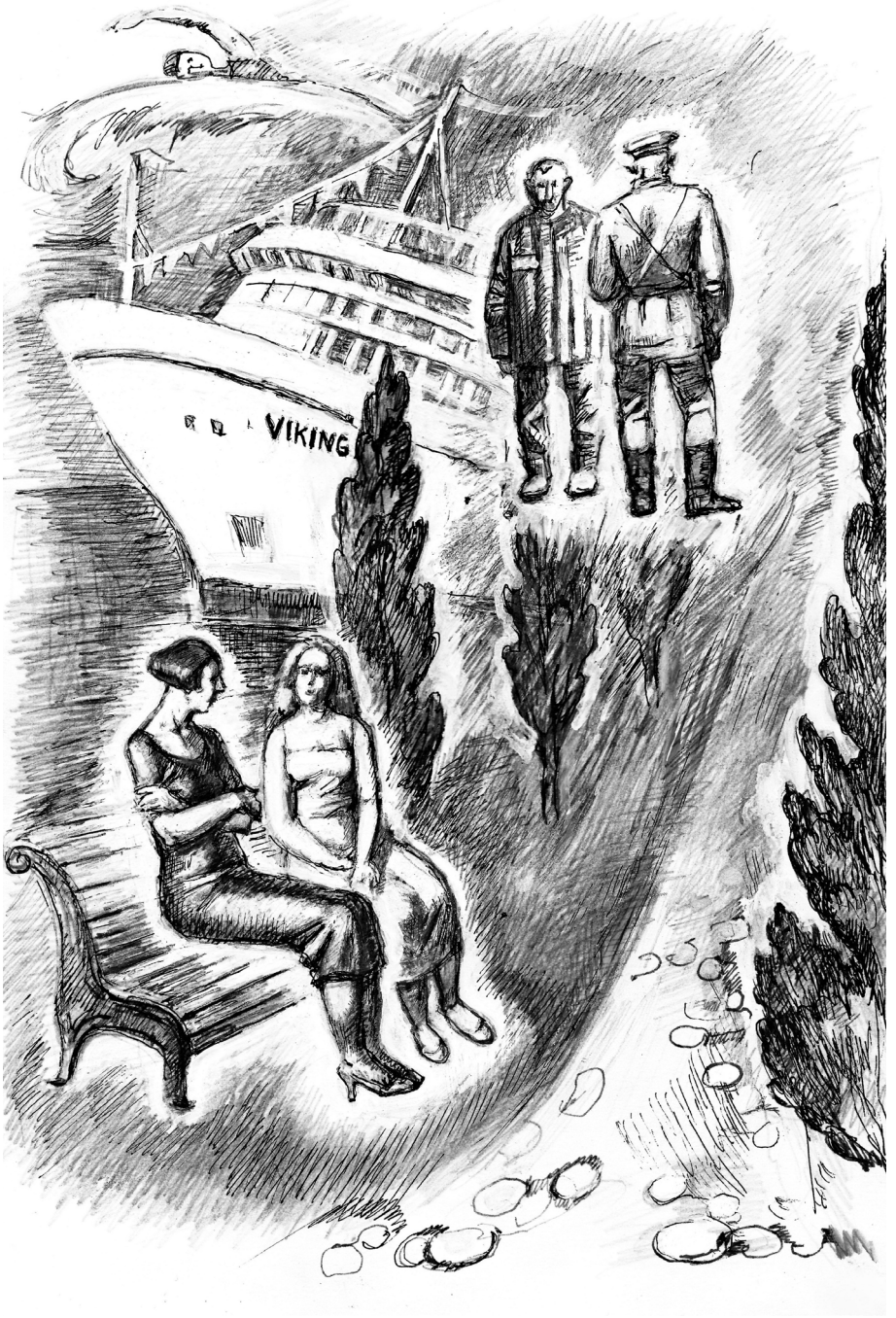
– Конечно, это редкая случайность – то, что муж его встретил. Но вы только подумайте: теперь этот мерзавец – такой же ветеран, как и мой муж!

– Да! – подхватила Светлана Алексеевна. – Меня просто поразило, как равнодушно все эти ветераны отнеслись к происшествию... Казалось бы, они должны возмутиться или уж не знаю, что...

– Да, вы правы, – грустно согласилась Вера Сергеевна и, помолчав, продолжила. – Жили мы тогда с мамой... Тогда – это в сорок седьмом году... Да, жили мы на Можайском шоссе. Папа погиб в сорок втором под Сталинградом. Сразу после школы я подала документы и поступила в институт народного хозяйства имени Плеханова. А тогда, вы, конечно, не можете этого знать, – продуктовые карточки, толкучки; буханка хлеба – дороже крепдешинового платья, вот и живи! Мама работала нянечкой в Первой Градской больнице, заработок небольшой, и моя стипендия была очень кстати... Предметом всех мечтаний был, конечно, мужчина, – ну, вы понимаете. – Вера Сергеевна улыбнулась, но тут же нахмурилась и оглянулась по сторонам. – Что они так долго выясняют?! Неужели его отпустят, этого мерзавца?! Да, так вот... Тогда принято было ходить в Дом офицеров. Там я и познакомилась со своим старшим лейтенантом, да, да, с этим самым...

– Улыбка у него хорошая, – вставила Светлана Алексеевна.

– Говорите, улыбка? Может быть, и это... А может быть, и что-то другое. Простота... Тогда некоторые офицеры набивали себе цену, а этот нет... Словом, через месяц мы расписались, и он забрал меня в Сокольники. Тоже в коммуналку... Четыре семьи... ну, обычное дело в те годы. Не могу сказать, что я прямо-таки любила мужа, но после рождения первого ребёнка, сына, он стал мне дорог. Дальше – больше... Ну, вы сами знаете, как это бывает... Но жизнь моя сложилась не очень удачно с самого начала. Свекровь потеряла на войне мужа и младшего сына – и превратилась в богомолку. Теснотища у нас – комнатушка и какой-то предбанник, а тут постоянные старухи в чёрном, шёпот, молитвенники...



Не успела поставить на ноги сына, на тебе – ещё ребёнок, дочка... И если с мальчиком всё было нормально, то второй ребёнок отказывался от груди, приходилось сдаивать, пошли болячки... Ох, а каково было доставать каждый раз бутылочку свежего молока! Ну, это взял на себя Саша, несмотря на то, что ему-то всегда в одно время на службу... А свекровь... Я уж сказала, что ей в те времена до внуков и дела никакого не было. Куда там! Бывало, заикнусь: вы бы, мол, мама, приглядели за детьми, пока я схожу на базар или в магазин, – что вы! Тут тебе и «бесстыдница» и «наплодила, так выхаживай»... До сих нор не пойму, как это у неё уживалось с Богом, с милосердием...

В квартире, как я сказала, было четыре семьи. Все, кроме нас (вернее, кроме меня), сжились, притёрлись, если и поссорятся, то быстро помирятся. А тут чужая женщина да с двумя детишками – у соседей к тому времени маленьких не было. Паровозный машинист с дочкой двенадцати лет, у которого жена частенько прихварывала, – где-то они побывали на трудовом фронте за Уралом, жили в холоде, в голоде, и вот у этой женщины начался процесс в лёгких. Ещё жила одинокая старушка, потерявшая на войне последнего сына, добрая, блаженная, не в себе, но что-то наши богомолки никак с нею не дружились... Да две сестры, Туся и Муся, девятнадцати и двадцати трёх лет – здоровые, крепкие, но безмужние. Девочка или больная жена машиниста, даже несчастная блаженная старушка помогали иногда приглядеть за детьми, но эти... Конечно, их можно понять, если по-женски: росли вместе с моим мужем, учились в школе, – что говорить! – ждали его с фронта и вот на тебе! – привёл чужачку... Им ничего не стоило пройти при нём в одной рубашке или задеть его плечом... Старшая, Муся, работала буфетчицей на Савёловском,

где-то на стороне у неё были мужчины, а вот замуж не брали. Стою я над своим примусом, помешиваю в кастрюльке манную кашу, а они поджаривают на сковороде яичницу с салом или нарочно вынесут и поставят на общий стол банку икры... Конечно, у Саши был паёк, да нас-то пятеро... Институт я оставила, куда там! Спустия семь лет поступила заочно и закончила. А тогда – забегалась, издёргалась... Вот как вы рассказываете, всё тело болит, каждая жилочка, каждый нерв. Свекровь поняла, что прямой атакой ничего не добьёшься, и переменила тактику: при муже спокойная, даже заботливая, а стоит ему выйти за порог – она змея змеёй... Да и я научилась: она в церковь – и давай я жаловаться мужу, плакаться, высказывать обиды... Я, говорю, света белого не вижу с твоими детьми, а твоя мамаша... Видите, уже и дети его... Приплетёшь, чего и не было, накричишься, наплачешься, вроде и полегчает... Даже потребность такая появилась – плакаться, истязать себя, жалеть...

Однажды муж сказал мне по секрету, что ему обещают квартиру – как только получит новое звание. Говорят, что у людей бывает предчувствие беды, – у меня не было. Сын мой к весне выздоровел, и я с детьми ходила гулять в Сокольнический парк. Но не прошло и месяца с того дня, как муж сказал о квартире, а беда уже – вот она... Дело в том, что в самом начале войны дивизия, в которой служил муж, не служил, а воевал, конечно, – попала в окружение... Да разве только их дивизия! Это был сорок первый... Мужу ещё повезло: они вышли из окружения, он был дважды ранен и попал в госпиталь. Наверно, из-за ранений его и оставили до поры в покое, но галочку кто-то где-то поставил, и вот...

Вера Сергеевна, отвернувшись, всхлипывала...

Большой белый пароход под названием «Викинг» пришвартовался, и на набережной появились празднично одетые иностранные туристы. Некоторых тут же облепили стайки молодежи...

– Нет, вы только подумайте, как обнаглели, они уже и милиции не боятся, никакого стыда, никакой гордости... Кто же нас будет уважать?

Милиции поблизости не было видно, а может, кто и был, но как фонарщикам поработать...

– И тут круто переменялась моя свекровь, – продолжала Вера Сергеевна. – Она внезапно превратилась в любящую бабушку. Куда и подевались все её монашки или кто они там были... Мы узнали, что муж получил десять лет лагерей, что он в Воркуте, «даёт стране угля» или, как у них говорили, «греет усатого»...

Нужно было как-то ему помогать, отправлять посылки. Но что мы могли – две домохозяйки? На чёрный день у нас ничего не было. Самое ужасное в тогдашнем быту – анкеты, надо было заполнять бесконечные графы этого страшного опроса, а я была теперь «чесеир» – член семьи изменника родины. Меня спасла одна благородная женщина, спасла в самом прямом смысле. У неё вторично посадили мужа; первый срок он отбывал с тридцать восьмого как троцкист, но в начале войны попал в штрафбат, там отличился, стал старшим лейтенантом, форсировал Днепр, был представлен к высшей награде, но ему не только не дали Героя, его забрали досиживать срок. Это так только говорилось «досиживать», чаще всего им давали новые полновесные срока...

Так вот эта женщина, такая, знаете, птичка-невеличка, бывший музейный работник, при первом же знакомстве обругала меня и пристыдила: «Не смей рыдать и вешать нос!

Завтра же приняться за комплекс упражнений по Мюллеру и обязательно водные процедуры... Вы, милочка, должны понимать, в какой стране и в какое время живёте... Слабость для нас – непозволительная роскошь... У меня самой трое детей, только постарше ваших... Подождите, я вам ещё устрою переписку с мужем!».

Наверно, сам Господь Бог послал мне эту спасительницу! Для начала она помогла мне сдать в ломбард единственную вещь, которую можно было туда отнести, – габардиновый плащ, подарок мужа к свадьбе... Я пыталась устроиться секретарём-машинисткой, ткачихой, даже дворничихой – ничего не вышло: анкета! Уж не знаю, каким образом моя мама вымолила для меня место посудомойки в больнице, в той же Первой Градской. Заработок мизерный, но сама я там питалась и что-то могла принести детям. Деньги полностью шли на посылки мужу.

Та же Евгения Фёдоровна приволокла все тряпки, из которых повыврастали её дети, – у неё были две девочки и мальчик. Сама же она и перешивала это на моих.

В пятидесятом ко мне впервые пришёл человек «оттуда». Это опять-таки устроила моя благодетельница, конечно, через десятые руки. Дома у неё хранилась секретная карта лагерей – того, что потом было названо ГУЛАГом. Там было от руки написано, куда и каким транспортом добираться и даже – средняя температура января и июля.

Человек «оттуда» был в обычном одеянии – дорогой шевитовый костюм, галстук – и до моего несчастья вряд ли я бы нашла в нём что-то особенное. Теперь не сразу заметила привычку оглядываться по сторонам и какую-то рассеянность что ли... Потом всё это я замечала и у мужа.

На клочке бумаги было нацарапано химическим карандашом всего четыре строчки. Муж писал, что всё у него нормально, работает в шахте, что у них там «зачёты», то есть при определённых условиях день засчитывается за два, а то и за три, и что он скоро должен освободиться. Я пыталась выспросить хоть какие-нибудь подробности, но посылный в ответ только улыбнулся и тихонько сказал:

– Зачем вам это, лучше знать поменьше...

– А как их там кормят?

– Чтобы скотина работала, её надо подкармливать, в общем, жить можно.

Но вот прошло время, умер Сталин, расстреляли Берию. До нас дошли слухи, что многих освобождают, дела пересматриваются...

Так!!! Простите, вот и он! Саша, я здесь. Саша!..

Муж Веры Сергеевны, широко улыбаясь, приближался к нам.

– Что же ты так долго?! А как с этим, задержали его? Нет?! Но почему, почему?! Ах, я и забыла, вот познакомься, это моя новая знакомая, мы тут как раз беседовали...

– Очень приятно, – как-то автоматически ответил он, протягивая Светлане Алексеевне крепкую ладонь, ту самую, прострелянную.

– Вы, пожалуйста, извините, но мне пора идти, я случайно...

– Что вы, что вы, не смущайтесь, – успокоила её Вера Сергеевна и тут же повернулась к мужу:

– Но я не понимаю, как его могли отпустить?! Разве что ты ошибся, и это не он...

– Он, он... К сожалению, это он... Ветеран войны и труда... Так сказать, заслуженный человек...

– Он что же воевал или?.. Не понимаю?!

– Воевал с такими, как я, – невесело усмехнулся лысоватой человек, вытирая платочком испарину. При этом рука его дрожала...

Светлана Алексеевна не могла осилить всё, чему стала свидетельницей и что услышала: слишком это не вписывалось в яркий ялтинский пейзаж, гуляющих по набережной людей...

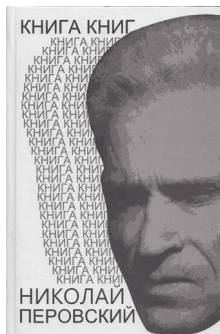
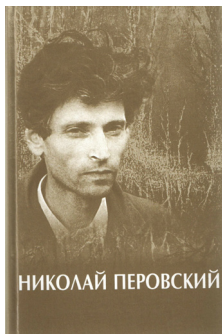
Прекрасный громадный белый пароход «Викинг», солнечные зайчики, скользящие под парусом спортсмены...

– Что ж, пора принимать водные процедуры, – надтреснутым голосом произнёс муж Веры Сергеевны, и Светлана Алексеевна, чувствуя себя лишней, поспешила откланяться...





ПОСЛЕСЛОВИЕ



НА ДОРОГАХ ЖИЗНИ

Член Союза писателей СССР, автор более 20 книг, вышедших в разных издательствах страны, поэт и прозаик Николай Михайлович Перовский родился 31 декабря 1934 года в слободе Михайловка Курской области. В три года остался без родителей:

Я в ночь глядел
с восторженным лицом,
не поддавался взрослым уговорам,
а в этот миг за матерью с отцом
причаливал к подъезду «черный ворон».
Текла по подоконнику вода,
а снизу наплывали силуэты,
они росли, росли... и воды Леты
над очагом сомкнулись навсегда.

Детский дом в Михайловке, полсотни воспитанников. Когда началась война, старшие ребята, «прибавив себе» год или два, ушли воевать, а остальных вывезли эшелонами в Среднюю Азию. По дороге их разбомбили, и не все добрались до нового дома на стыке Киргизии и Казахстана.

Голод, холод, неприкаянность, – всё то, о чём он напишет потом в прозе и стихах:

Война.
А у нас в изоляторе тихо.
Весна.
А мой друг умирает от тифа.
Воркуют умытые сытые голуби,

а друг умирает от вшей и от голода...
В двенадцать он был восхищён Прометеем,
в четырнадцать верил в коммуноу неистово.
Он шутит: «Пройдет!
Вот чуток пропотею...
А если...
Считайте меня коммунистом!»
В четырнадцать лет –
до нелепости рано...
А голуби кружатся над карнизом...
Есть разные страны – хорошие страны.,,
Но только в моей – абсолютно не странно
поверить в четырнадцать лет в коммунизм.

От голода решил бежать из приюта. «Три мушкетёра» – любимую книгу – во время бегства пришлось оставить в детском доме:

Мне этот томик золотой,
затертый, драный и разбухший,
достался лютою ценой –
взамен законного дежурства.
Я нянчу книгу и шепчу:
(Увы и ах, прости мне, Муза!)
«Ну хоть лепешку-тапанчу...
Ну хоть початок кукурузы...»

Несколько месяцев беспризорничал, потом оказался в специальном ФЗУ в Самарканде. Новый побег, новее скитания, пока зимой 1947 года не оказался в колхозе в селе Юсуповка Джамбульской области. Земляк Перовского,

писатель-краевед Геннадий Александров в статье о поэте перечислял «вехи» его тогдашнего жизненного пути: «Перовский был «воспитанником колхоза», как это тогда называлось. Пас телят в Тянь-Шане, был водовозом, подручным комбайнера». Алла Лебкова, услышав эту историю, написала очерк «Полёт не требует награды». Вот отрывок из него:

«Воспитанника колхоза определили стеречь свиней. Жил в сторожке, где молоденькие девчонки, скотницы Машка и Наташка, варили свиньям в большом чане и тут же себе – в котелке. Впрочем, то, что готовилось в котелке, мало, чем отличалось от бурды для свиней, и было из той же самой гнилой картошки. С приходом лета стало вольней: двенадцатилетний скотник был переведен в пастухи и стал гонять овец в отроги Тянь-Шаня. Осенью школа и та же работа, пока не ударил мороз и сделалось невозможным ходить в школу за пять километров разутым. Учиться очень хотелось, и выход был найден – письмо Сталину с просьбой прислать ботинки. В те времена такие письма перехватывали на почте, и он отправил своё с соседней станции. Но письмо все же перехватили. Вызвали в сельсовет, где ждали директор школы и представитель НКВД и здорово отругали, но все же купили ботинки, фуфайку, определили жить на квартиру. В 53-м школа окончена, но нет паспорта и невозможно уйти из колхоза.

*Я жду и жажду выпускного,
я собираюсь в институт,
авось отпустят крепостного,
авось мне вольную дадут.*

И директор школы хлопочет перед райкомом ВЛКСМ за своего выпускника, серебряного медалиста и секретаря

школьной комсомольской организации. В конце концов, документы получены, Перовский едет в Москву».

Учился в Горном институте, трудился на целине (Оренбургская область, совхоз «Комсомольский»), работал на обогатительной фабрике в Донбассе (Никитовка), в шахтах Воркуты. Его жена, Лидия Ивановна, рассказывала спустя много лет: *«Из-за болезни Коля не окончил Горный институт – после третьего курса вынужден был сменить столицу на деревню, что могло замедлить развитие опасной болезни. Так московский студент стал почтальоном в селе Шебекино. Мы познакомились после моего выпускного, стали встречаться, и уже в августе Коля сделал мне предложение.*

Мама, мечтавшая о хозяйственном сельском зяте, желательном «трактористе», вначале расстроилась: «этот доходага не принесет, не украдет...». И хотя мама судила по внешнему виду Коли, я уже тогда знала, что он «доходага» и в прямом смысле: облученный, малокровный, приехавший в деревню умирать.

Однажды, когда он уже публиковался и познакомился со многими литераторами, мать поэта Юрия Влодова, бывшая актриса, услышала, как Коля играет на гитаре, и посоветовала поступить на курсы баянистов-хормейстеров. Мы продали тёлку, чтобы купить баян. В первый же вечер Коля подобрал на нем несколько мелодий, под которые мама умиленно вытирала слезы: телочка была принесена в жертву не зря».

На курсах в Харькове успешному курсанту Перовскому предложили идти учиться в музыкальный вуз. Но по окончании курсов он вернулся к жене и маленькой дочери – стал работать в Доме культуры села Бутово Белгородской обла-

сти. Вёл музыкальный кружок, пробовал свои силы и на педагогическом поприще в местной школе.

О том времени Перовским напомнило письмо, пришедшее спустя несколько десятилетий в Орёл с Белгородчины:

«Здравствуйте, уважаемая Лидия Ивановна! Спасибо за сборник стихов Николая Михайловича. Мне, как обычно, до последнего времени далекому от литературы читателю, больше всего запала в душу его любовь к родной земле и окружающей природе. Я запомнила его как учителя пения Бутовской средней школы. Он хорошо играл на баяне, прививал нам любовь к музыке.

В старших классах мы читали стихи Николая Михайловича в областной молодёжной газете «Ленинская смена». Кажется, все, о чем писал Николай Михайлович в стихах, он рассказывал о себе. Но эти чувства близки и читателю, поэтому стихи воспринимались как строки о каждом из нас. Из далеких 60-х годов поэт Перовский шагнул в наши дни и дальше – в будущее. Его стихи будут читать и наши дети, потому что он сумел передать в них красоту души русского человека, русского слова и родной природы.

А как хорошо он сказал о своих ушедших из жизни друзьях:

*Голосами друзей и знакомых
мне аугают поле и лес,
соловьи из душистых черемух
сыплют ноты, как манну с небес...*

Теперь и его голосом...

Я хотела бы передать книги Николая Михайловича в Бутовскую сельскую библиотеку и в школу, где он работал, а сборник «Журавли не только улетают» оставить

себе, почитать его своим одноклассникам, с которыми скоро встретимся в день 50-летия окончания школы.

С наилучшими пожеланиями, строитель Нина Куницына. Яковлевский район, Белгородская область».

Много работавший с архивом Перовского литературовед Геннадий Тюрин так писал об этом периоде: «Из совхоза Шебекино Поле начинающий автор отсылал или привозил свои первые литературные опыты в областную молодёжную газету «Ленинская смена». В 1958 году сотрудник редакции Юрий Чубуков писал: «Как видишь, твои стихи пошли в газету<...>. НЕМЕДЛЕННО (выделено в оригинале. – Г.Т.) пришли 10–15 стихотворений (может, и рассказик) и краткие биографические данные <...>. Лучшее было бы, если бы заглянул сам». В декабре 1960 года Александр Потапов, будущий главный редактор «Белгородской правды» и газеты «Труд», настойчиво просил: «Главное – обязательно, всенепременнейшие или новогодние стихи: всякие, лирические, тёплые, зимние... Ясно? Не подведи».

Об том времени строки воспоминаний Н. М. Перовского: «Наезжая в Белгород, я близко познакомился с сотрудниками молодёжной газеты. Юра Чубуков окончил Ленинградский университет, Володя Зайцев – Воронежский, Саша Потапов – Вильнюсский. Область молодая, поэтому и сотрудники редакции все были молоды, цепки».

Подававшего надежды автора заметили, позже приняли в штат: «Меня пригласили работать в областную молодёжную газету «Ленинская смена» <...>. К сожалению, нравы в редакции были более чем вольные... <...> Спал я прямо в редакции, которая была в то время проходным двором для местной богемы».

В 1961 году Ярослав Смеляков рекомендовал стихи Перовского в «Комсомольскую правду», в 1962 году его «заметил» Сергей Наровчатов. Воевавший на Орловщине в 1941 году (спустя три десятилетия он станет главным редактором «Нового мира»), Наровчатов познакомился с Перовским в Курске. И вот как вспоминал о той встрече в небольшой зарисовке, опубликованной в «Литературной России» в мае 1964 года:

«Есть такое слово «показался», имеющее смысл заинтересовать, остановить внимание, понравиться. Так вот, он сразу мне показался, этот паренёк. Мы познакомились с ним в Курске на семинаре молодых поэтов. Весь какой-то взъерошенный, угловатый, нервный, он, резко жестикуюлируя, расхваливал стихи своего товарища. Я попросил его прочесть свои. Он стал смущённо отнекиваться. «Полноте, Перовский, – сказал я, – вы приехали из Белгорода для того, чтобы читать, а я из Москвы, чтобы вас слушать. Приступим к своим обязанностям».

Стихи назывались «Испания». Он питал их так, как будто сам впервые слушал себя, не обращая внимания ни на нас, ни на аудиторию.

«Да это же хорошие стихи! Читай дальше!» – зашумели молодые поэты. Я присоединился к ним. Паренёк благодарно блеснул глазами и продолжал чтение. И опять зазвучали настоящие стихи. По ним легко угадывалась его биография, трудная и необычная. Она прошла перед нами за полчаса и запомнилась с печальной ясностью. Трёх лет он остался без родителей, шести потерял единственного брата, погибшего на войне, и пошло скитаться одинокое детство из детдома в детдом...»

В 1961 году в Белгороде вышла первая книга стихов Перовского – «Звезды делает человек», в 1964-м – «Голуби,

голуби» (её редактором был Наровчатов). Ещё в 1962 году в Курске на межобластном семинаре молодых писателей было решено издать книгу Перовского в Москве – сборник «Небо» вышел в 1965 году в издательстве «Молодая гвардия». Затем три книги увидели свет в Центрально-Чернозёмном издательстве в Воронеже: «Испытание» (1967), «Осенние костры» (1969), «Август» (1973).

Перовского приняли в Союз писателей СССР в 1964 году. Его произведения публиковались на страницах областных и центральных периодических изданий (в журналах «Молодая гвардия», «Октябрь», «Новый мир», «Подъём»). Поэт и прозаик философски показывал читателям сложный облик современного мира, одновременно являясь тонким лириком в описании природы.

Друг Перовского и его сотоварищ по творчеству белгородец Игорь Чернухин (1930–2017) вспоминал: *«Николай Перовский в этой стихии осеннего очаровательного космического кружения был не только глубоким и тонким поэтом-лириком, философом, но и необыкновенно яркой, запоминающейся личностью. Открытый, умный, не всегда удобный, ершистый, но зато прямой и честный, он по праву претендовал на лидерство среди своих современников. И надо сказать – так оно и было: перед ним приклонялись многие – и старые, и молодые, его любили, уважали, читали, ему подражали. Николай Перовский в 1960–70-е годы на Белгородчине был настоящей литературной легендой, мерилом истинной, высокой поэзии. Он оказал большое влияние на всю идущую за ним юную поэтическую поросль. Все известные и чтимые ныне в Белгороде поэты: Владимир Молчанов, Александр Филатов, Сергей Ташков, Геннадий Островский, Иван Рыжих, Татьяна Олейникова,*

Александр Машкара, – в своё время не прошли мимо Перовского».

В 1976 году Николай Михайлович с семьёй – женой Лидией Ивановной и дочерью Маргаритой – переехал в Орёл. Здесь были написаны книги, вышедшие уже в Приокском издательстве в Туле: сборники поэзии «Грани» (1979), «В пути» (1986), «Память любви» (1990), а ещё два сборника повестей и рассказов – «Дорога к дому» (1983) и «Стоит гора высокая» (1991).

Его соратник, поэт и эссеист Владимир Ермаков (1949–2024) писал: *«При всех своих заслугах перед художественным словом, поэт Перовский никакой властью не обласкан, ничего не удостоен и ничем не награжден. Когда художника такого масштаба как бы не замечают, это отнюдь не по близорукости критики – это от дальнзоркости расторопных распорядителей кредитов доверия публики. Значит, его мера больше, чем мерка, подоженная под посредственность: отдать ему должное – оторвать от себя. То, что Перовский из тех немногих в нашем гордом своей культурной миссией городе, кто всерьез может быть назван поэтом, понятно всякому, кто хранит хотя бы смутную память о критериях культуры. То, что Перовский при всех околотературных счетах (на первый-второй расчитайсь!) стоит вне строя, прямо утверждает его независимость от конъюнктуры и косвенно подтверждает зависимость нашего литературного процесса от настроения начальства. То, что Перовский при всем его неоспоримом первенстве обделен официальным признанием, не ущерб его имени, а ущербность нашего общества».*

А вот строки из воспоминаний другого коллеги – Анатолия Загороднего:

«Было у Николая Перовского, как и у Виктора Дронникова, что-то ангельское в душе.

Но если первый был закрыт, Коля – весь нараспашку, по-человечески прост и искренен...

От простых с закваской дворового хулигана стихов с послевоенной саднящей тематикой перешел к строгой даже холодноватой классичности.

Но это был холод, который отдавал огнём. Местами слепил. Подобно электросварке. В финале явились венки виртуозных сонетов. Поэт нередко читал мне свои стихи, в том числе и венками, по телефону. Только народившимися. Стихи его отдавали тем самым, вроде как божественным, жаром, небесным огнем.

Работал, как машина, как-то не по-человечески даже. В последние годы особенно много, подолгу, обильно и при этом всегда в высшей степени качественно. Убеждён, он писал до последнего вздоха, до гроба. Дыханием – до издыхания. Машина так не может. Чудится мне, это был в действительности уникальный мозг.

Мы нередко со времени моего приезда в Орёл гуляли с ним, нередко с Лидией Ивановной, по Александровскому мосту, вверх по Болховской. Любопытно: разговаривать с Колей бывало непросто, мысли у него от обилия налезали одна на другую, создавая ощущение хаоса и сумбурности. Тем более, опять же и опять, поражала совершенная, какая-то математическая ясность стихов.

Вообще Коля – рыцарь высокой поэзии, с чистойшей огранкой, с идущим от слова светом. С того многие его стихи – как брильянты».

В орловском издательстве «Вешние воды» вышли книги Перовского «Старое танго» (1993), «Чьи-то сновиденья про-

вожая...» (1997), «Корни и крона» (1999), «Лебеди на Орлике» (2002), «Время» (2005). В 2002 году также увидели свет книги в других городах: «Звезда упала» в Набережных Челнах и «Иное царство» в московском издательстве «Глобус».

Увы, тяжёлая болезнь не дала осуществить многое из задуманного. Вдова писателя Лидия Ивановна вспоминает эти тяжёлые дни и месяцы: *«С января по сентябрь 2007 года Коля перенес шесть курсов химиотерапии и под воздействием сильных лекарств стал видеть такое, от чего всем, кто в это время находился рядом с ним, становилось не по себе. Именно в видениях он впервые вспомнил, что день его рождения 23 марта 1934 года, что его родителей звали Михаил Николаевич и Мария Сергеевна. В состоянии полубытия он беседовал с Толстым и Ницше, вслух произносил длинные фразы и монологи на французском, английском, польском и немецком языках (откуда в сознании человека, учившего в школе только немецкий и после тяжёлого довоенного тифа напрочь забывшего большой период своего раннего детства, откуда весь этот космос, названный нашей дочерью Ритой «теорией Карла Юнга в действии», – необъяснимо). В дни просветления он надиктовал нам поэму «Осень в городе» и несколько стихотворений, написал письма друзьям, принял крещение и, постепенно угасая, со всеми, кто ему был дорог, простился и всех простил.*

Мы прожили с Колей 50 лет. Он не раз признавался в дружеском кругу, что благодаря мне получил в подарок вторую жизнь. Я действительно боролась за него упорней, чем за себя. На замечание врача-соседа о том, что ухаживаю за мужем, «как за царской особой», я совершенно искренне ответила: «Он больше, чем царская особа, он для меня – всё».

Умер Николай Михайлович Перовский 13 сентября 2007 года, похоронен на Троицком кладбище в Орле. В Орле его имя увековечено в названии библиотеки – филиала ЦБС в Лужках, избранные произведения включены в учебную хрестоматию «Писатели Орловского края» и школьный курс «Литература родного края», изучаемый в образовательных учреждениях Орловской области. В 2009 и 2014 годах в издательстве «Вешние воды» вышли два больших сборника стихов и прозы Николая Перовского. В научно-исследовательском проекте кафедры русской и зарубежной литературы ОГУ «Орловский край в русской литературе XX–XXI веков» Николаю Перовскому посвящен двухтомный выпуск стихов, публицистики, воспоминаний коллег, друзей и близких, рецензий и писем (сборник подготовил Г. А. Тюрин). Монографию «Поэзия Николая Перовского» (Москва, 2020) издала белгородский профессор-филолог В. К. Харченко.

Книга, которую вы, уважаемый читатель, держите в руках, – ещё одна дань памяти поэту. У рукописи книги Николая Перовского изначально, ещё в 1970-е годы было рабочее название «Стоит гора высокая» (повести, рассказы). В книгу были собраны художественные произведения, основанные на воспоминаниях о трудном детстве в годы военного лихолетья, о скитаниях юности и молодости, раздумьях о современнике. Повествование, по оценкам критиков, отличали тонкий психологизм и глубокий лиризм. Это был вдумчивый рассказ от первого лица человека, который сделал себя сам.

Не многие знают, но начинал поэт свой путь в литературу именно с прозы (об этом вспоминала его вдова Л. И. Перовская). Проза всегда притягивала его внимание и читательский интерес. Среди любимых книг детства – «Три

мушкетёра» и «Гаргантюа и Пантагрюэль». Уже будучи профессиональным писателем, перепечатал дома на пишущей машинке роман Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса». Книжки (к ним было отношение как к святыне) Перовский покупал на последние деньги, а вот прочитанные с лёгкой душой оставлял детям и студентам.

В архиве Перовского сохранилось письмо от Николая Родичева, датированное 16 октября 1978 года. Николай Иванович Родичев (1925–2002) родился в Дмитровском уезде Орловской губернии в семье крестьянина. Участник Великой Отечественной войны. Окончил университет, работал журналистом, редактором областного книгоиздательства в Донецке. В 1950-е гг. вышло в свет несколько его книг. Учился на Высших литературных курсах в Москве (1961–1962 гг.), затем заведовал редакцией прозы в издательстве «Советский писатель», был заместителем главного редактора издательства «Московский рабочий». С особым вниманием относился к начинающим или уже известным авторам, живущим на периферии. Многие из поддержанных им тогда писателей со временем стали весьма известны (В. Белов, П. Проскурин, В. Шукшин, А. Дементьев и другие).

Благо, что рукопись повести о детстве в военного лихолетье попала именно в руки Родичева, о чём рассказывается в предисловии.

Отправленная на рецензирование Родичеву повесть «Стоит гора высокая», пусть не сразу, но получила путёвку в жизнь, была издана в книге «Дорога к дому» (Тула, 1983). Новинка удостоилась высокой оценки коллег. Так, например, на партийном собрании в Орловской писательской организации в январе 1984 года шёл разговор о том, что собственно на собрании писательском накануне обсуджали книги

1983 года. Как отметил в своём докладе секретарь парторганизации Василий Катанов, получили добрую оценку книги прозы: «Шептун-трава» Л. Золотарёва, «Костры Бежина луга» А. Яновского, «Дорога к дому» Н. Перовского.

Настоящее издание в серии «Орловщина литературная – современники» не является перепечаткой вышедших в советское время книг прозы Перовского. Здесь опубликован и ряд рассказов, которые сохранились лишь в рукописях. Подробнее остановимся на двух из них – «Возвращение» и «Водные процедуры».

Литературовед Геннадий Тюрин отмечал: *«Как многие стихотворные и прозаические произведения Н. М. Перовского, этот рассказ [«Возвращение»] автобиографичен – в нём отражены эпизоды белгородского периода творческой биографии. Следуя традициям русской реалистической прозы, Н. М. Перовский выходит за рамки мемуарных заметок. Рассказ, основанный на принципах художественной типизации, представляет полноценный срез жизни советской эпохи. Прозаик-бытописатель изображает будни молодёжной газеты и сложные ситуации в «неперспективной» деревне. Мастерство писателя проявляется в точной детализации описаний, индивидуализации речи, в раскрытии переживаний персонажей. Социально-бытовая сюжетная линия усложняется любовной историей. Однако главное в рассказе – проблема нравственного и гражданского выбора: участвовать в идеологической игре-лжи или, отказавшись от тщетных потуг отыскать правду, найти себя в реальной жизни. Компромиссная позиция раскрывается в словах редактора отдела комсомольской жизни Сергея Раскатова: «Ежу понятно, что все эти «почины» – липа... Но уж если ты пошёл работать в газету, то будь любезен делать своё*

дело!» От ложного и громкого героизма («Видишь, здесь всё есть! И честь смолоду... И трудовой героизм... И горячий порыв молодости...») отказывается Надежда Самохина, разорвавшая районную газету «на мелкие кусочки»... В рассказе Николая Перовского раскрывается предчувствие катастрофических событий конца XX-го века: оторванность власти от народа, бессилие и конъюнктурность массовой печати, уничтожение российской деревни».

Столь же автобиографичен и рассказ «Водные процедуры» – изображён «случай из жизни», очевидцем которого оказался писатель. В 1980 году Н. М. Перовский вместе с женой отдыхал в ялтинском Доме творчества имени А. П. Чехова: экскурсии по побережью, прогулки по городу и его окрестностям, посещение музеев, театра, Большого концертного зала... Встречи с именитыми и малоизвестными писателями, приехавшими из разных уголков страны: Алексеем Арбузовым, Сергеем Островым, Миколасом Слуцкисом, Николаем Зиновьевым, Николаем Шумаковым...

Геннадий Тюрин, анализируя текст рассказа, составил небольшое предисловие к нему:

«Однажды, прогуливаясь по ялтинской набережной, Перовские стали свидетелями описанного в рассказе случая. Эта неожиданная ситуация оказалась прикосновением к сокровенным глубинам души писателя, таящей неутихающую боль по бесследно исчезнувшим родителям, детдомовские будни, бесприютную юность... Произведение вообрало жизненный опыт автора: работа в Воркуте и общение с бывшими лагерниками, знание московского «коммунально-го» быта, ощущение пульса курортного города...

Рассказ раскрывает трагедию советской (московской) семьи, счастье которой оказалось разбитым не в роковые

тридцатые годы, а в послевоенное время, пропитанное идейной суровостью. Сюжет осложнён двумя линиями: «мужской» (репрессирован офицер, бывший раненый окруженец) и «женской» (судьба его жены, оставшейся с двумя малолетними детьми). Автор напоминает о социальном клейме «чесеир» (член семьи изменника родины), которым отмечали родственников репрессированного.

Социально острой и напряжённой является «мужская» линия, включающая два основных конфликта... на ялтинском пляже бывший лагерник опознал охранника-зверя. В скандальную ситуацию вмешивается милиция. При разбирательстве оказывается, что лагерный изувер наделён правами ветерана войны. Эту ситуацию с трагической иронией объясняет герой с прострелянной рукой: «Воевал [охранник] с такими, как я».

Творческий замысел («нерв») «Водных процедур» связан с проблемой восстановления социальной справедливости. К концу XX-го столетия преступления кровавой эпохи оказались раскрытыми не во всей полноте и глубине. Народ, захлестнутый волнами репрессий и надорванный нагрянувшей войной, не осмыслил роковые последствия трагедии».

Проза Николая Перовского и спустя годы заставляет читателя внимательно всмотреться в прошлое, задуматься о современности и будущем. Вся неистовость и нежность природы поэта отразилась в его творчестве. Друг Перовского Игорь Чернухин писал:

«Я хорошо помню глаза Николая. В них светились голубые кусочки неба. А ещё какое-то детское удивление, настороженность, дерзость, любопытство. Это уже, как мне думается, скорее от безотцовщины, сиротства, детского Дома. Насколько мне помнится, Николай никогда не глядел

вниз, под ноги, в землю. Он глядел вверх, в небо. И оттого нёс свою голову высоко и гордо. Его увлекала, манила и радовала высота. Поэтому он так стремился к звёздам, облакам – к небу:

*Я к небу стремился путями любыми,
и стали глаза у меня голубыми,
и в самый ответственный в жизни момент
глаза предъявил я как документ.
В них небо – они не умеют фальшивить...*

Он любил небо... Ему хотелось не ходить, как все, по этой горестной, тяжёлой, неподъёмной земле, а летать. Ведь он всё время ощущал, чувствовал в себе крылья. Чувствовал... Но они выросли у него только по ночам в его красивых цветных снах. И тогда он летал... Когда же он по утрам просыпался – крылья исчезали... Николай мучительно искал их и стал, мечтая о небе, говорить стихами. И вскоре крылья нашлись. Это были крылья Пегаса...»

Черёмухин посвятил Перовскому стихотворение «Ночной всадник»:

Предгрозовья ночного дыханье.
Задремавшая в поле река,
Трав, лесов и небес колыханье,
И над всем мировая тоска.
В эту ночь со смиреньем молитесь,
Чтоб не стать после ночи золой,
Потому что заоблачный витязь
Поднял огненный меч над землёй.
Он разбудит всю твердь и разрушит

Этот мир – от небес до цветка.
Да услышит имеющий уши
Ниспадающий гул свысока!
Это витязь суровый несётся
На коне вороном – небыль, быть...
Всё к чему его меч прикоснётся –
Обращается в звёздную пыль.
Шар разверзнется, земь среди ночи
Вместе с чёрной и белой травой.
Да увидит имеющий очи
Крест вселенский во тьме мировой!
В эту жуткую ночь помолитесь
И за бедную душу мою,
Потому что заоблачный витязь
Бросил меч...
Дал мне руку свою.

Когда-то, встречая в своём доме в Орле Пушкина, генерал, герой Отечественной войны 1812 года Ермолов сказал: «Поэты суть гордость нации». Понять мир поэта, увидеть «иные грани» в его творчестве – это в какой-то степени значит понять дух времени, дух народа, движение истории.

Надеемся, что исповедальная книга Николая Перовского послужит читателю на его дорогах жизни.

*Алексей Кондратенко,
доктор филологических наук,
член Союза писателей России*

СОДЕРЖАНИЕ

Вместо предисловия. Письмо Н.И. Родичева 5

СТОИТ ГОРА ВЫСОКАЯ

Повесть

Шматок сала	11
Дежурство	29
Друзья	41
Кителя	47
Песочные часы	56
Ночной костёр	69
Побег	75
На коне верхом	81
Никишка.....	92
Тимоша.....	104
Жеребёнок	117
Люба	132

РАССКАЗЫ

Дорогой и любимый, или «что зря»	143
Старинный марш	177
Возвращение.....	198
Водные процедуры.....	220

Послесловие. На дорогах жизни. (А.И. Кондратенко)..... 239

Серия
«Орловщина литературная – Современники»

Литературно-художественное издание

12+

Николай Михайлович Перовский

СТОИТ ГОРА ВЫСОКАЯ

Повесть, рассказы

Художник Ольга Сорокина

Главный редактор: С. А. Ветчинников

Технический редактор: К. В. Стародубцев

Подготовка текста: БУКОО «Орловский Дом литераторов»



Подписано в печать 26.08.2024 г. Формат 60×84 1/16
Печать ризография. Бумага офсетная. Гарнитура Times New Roman
Объём 16,25 усл. печ. л. Тираж 100 экз. Заказ № 180

Лицензия ПД № 8-0023 от 25.09.2000 г.
Отпечатано с готового оригинал-макета
в ООО Полиграфическая фирма «Картуш»
г. Орел, ул. 2-я Посадская, 26. Тел.: (4862) 44-51-46.
E-mail: kartush.orel@yandex.ru www.kartush-orel.ru